

ОКТАБРЬ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

ВЕСТИ

ЛИТЕРАТУРНО- ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ



СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ:

МАТЭ ЗАЛКА — О голубом Дунае
Л. АРГУТИНСКАЯ — В водовороте
И. ЕВДОКИМОВ — Усадьба Юрово
Мих. ШОЛОХОВ — Тихий Дон

СТИХИ:

Г. Санникова, М. Тарловского,
В. Александровского, Карло
Каладзе, К. Лордкипанидзе, Г. Крей-
тана, Н. Асеева

ЖИЗНЬ НА ХОДУ:

Е. Ломтатидзе — Зарисовки карандашом

ЛИТЕРАТУРА:

Б. Волин — Ленин о Горьком
Е. Трощенко — «На мартенах»

БИБЛИОГРАФИЯ

БНИА 7

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

О К Т Я Б Р Ъ

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
Ж У Р Н А Л
ВСЕСОЮЗНОЙ И МОСКОВСКОЙ
АССОЦИАЦИЙ
ПРОЛЕТАРСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ

★

К Н И Г А С Е Д Ъ М А Я

И Ю Л Ъ 1 9 2 8

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
МОСКВА * ЛЕНИНГРАД

Отпечатано
в 7-й типографии
„ИСКРА РЕВОЛЮЦИИ“
Мосполиграф.
Москва, Арбат, Филипповск., 13.
Тираж 2.700.
Мосгублит. № 17982.

ТИХИЙ ДОН

(Р о м а н)

*

МИХ. ШОЛОХОВ

Часть пятая

I

ГЛУБОКОЙ осенью 1917 года стали возвращаться с фронта казаки. Пришел постаревший Христоня и еще трое казаков, служивших с ним в 52 полку. Вернулись оставшиеся по-чистой, попрежнему голощекий Аникушка, батарейцы Томилин Иван и Яков Подкова, за ними — Мартын Шамиль, Иван Алексеевич, Захар Королев, нескладно-длинный Борщев; в декабре неожиданно появился Митька Коршунов, спустя неделю — целая партия казаков, бывших в 12-м полку: Мишка Кошевой, Прохор Зыков, сын старика Кошулина — Андрей Кошулин, Елифан Максаев, Силян Егор. На красивейшем буланом коне, взятом у австрийского офицера, приехал прямо из Воронежа отставший от своего полка калмыковатый Федот Бодосков и после долго рассказывал, как пробирался он через взбаламученные революцией деревни Воронежской губернии и уходил из-под носа красногвардейских отрядов, полагаясь на резвость своего коня. Следом за ним явились уже из Каменской бежавшие из обольшевиченного 27-го полка Меркулов, Петро Мелехов и Николай Кошевой. Они-то и принесли в хутор известие, что Григорий Мелехов, служивший в последнее время во 2-м запасном полку, подался на сторону большевиков, остался в Каменской. Там же, в 27-м полку, прижился бесшабашный (в прошлом — конокрад) Максимка Грязнов, привлеченный к большевикам новизною наступивших смутных времен и возможностями привольно пожить. Говорили про Максимку, что обзавелся он конем невиданной уродливости и столь же невиданной лютой резвости; говорили, что у максимкиного коня через всю спину протянулся природный серебряной шерсти ремень, а сам конь не высок, но длинен и масти прямо-таки бычино-красной. Про Григория мало, гово-

рили, — не хотели говорить, зная, что разбились у него с хуторными путями, а сойдутся ли вновь — не видно.

Курени, куда вернулись казаки хозяевами или жданными гостями, полнились радостью. Радость-то эта резче, безжалостней подчеркивала глухую прижившуюся тоску тех, кто навсегда потерял родных и близких. Многих не досчитывались казаков, — растерялись они на полях Галиции, Буковины, Восточной Пруссии, Прикарпатья, Румынии, трупами легли и истлели под орудийную панихиду, и теперь позаросли бурьяном высокие холмы братских могил, придавило их дождями, позамело сыпучим снегом. И сколько ни будут простоволосые казачки выбегать на проулки и глядеть из-под ладоней, — не дожждаться милых сердцу! Сколько ни будет из опухших и выцветших глаз ручьиться слез, — не замыть тоску! Сколько ни голосить в дни годовщин и поминок, — не донесет восточный ветер криков их до Галиции и Восточной Пруссии, до осевших холмиков братских могил!..

Травой зарастают могилы, — давностью зарастает боль. Ветер зализал следы ушедших, — время залижет и кровяную боль и память тех, кто не дождался родимых и не дождетса, потому что коротка человеческая жизнь и немного всем нам суждено истоптать травы...

Билась головой о жесткую землю жена Прохора Шамиля, грызла земляной пол зубами, наглядевшись, как ласкает вернувшийся брат покойного мужа, Мартин Шамиль, свою беременную жену, детям раздает подарки и нянчит их. Билась баба и ползала в корчах по земле, а около в овечью кучу гуртулись детишки, выли, глядя на мать захлебнувшимися в страхе глазами.

Рви, родимая, на себе ворот последней рубахи! Рви жидкие от безрадостной, тяжкой жизни волосы, кусай свои в кровь искусанные губы, ломай изуродованные работой фуки и бейся на земле у порога пустого куреня! Нет у твоего куреня хозяина, нет у тебя мужа, у детишек твоих — отца, и помни, что никто не приласкает ни тебя, ни твоих сирот, никто не избавит тебя от непосильной работы и нищеты, никто не прижмет к пруди твою голову ночью, когда упадешь ты раздавленная усталью, и никто не скажет тебе, как когда-то говорил он: «Не горюй, Аниська! Проживем!» Не будет у тебя мужа, потому что высушили и издурнили тебя работа, нужда, дети; не будет у твоих полутолых, сопливых детей отца; сама будешь пахать, волочить, задыхаясь от непосильного напряжения скидывать с косилки, метать на воз, поднимать на тройчатках тяжелые вороха пшеницы и чувствовать, как рвется что-то внизу живота, а потом будешь корчиться, накрывшись лохунами, и исходить кровью.

Перебирая старое бельешко Алексея Бешняка, плакала мать, точила горькие скупые слезы, приноживалась, но лишь последняя рубаха,

привезенная Мишкой Кошевым, таила в складках запах сыновьего пота, и, припадая к ней головой, качалась старуха, жалостно причитала, узорила клейменную бязевую грязную рубаху слезами.

Осиротели семьи Маньцкова, Афоньки Озерова, Евлантия Калинина, Лиховидова, Ермакова и других казаков.

Но лишь по одному Степану Астахову никто не плакал — некому было. Пустовал его забитый дом, полуразрушенный и мрачный даже в летнюю пору. Аксинья жила в Ягодном, попрежнему в хуторе о ней слышали мало, а она в хутор не заглядывала, — не тянуло, знать.

Казаки верховых станиц Донецкого округа шли домой земляческими валками. В хутора Вешенской станицы в декабре почти полностью вернулись фронтовики.

Через хутор Татарский день и ночь тянулись шайки верховых, человек по 10—40, направляясь на левую сторону Дона.

— Откуда, служивые? — выходя, спрашивали старики.

— С Черной речки.

— С Зимовной.

— С Дубровки.

— С Решетовского.

— Дударевские.

— Гороховские.

— Алимовские, — звучали ответы.

— Навоевались, што ль? — ехидно пытали старики.

Иные фронтовики, совестливые и смирные, улыбались.

— Хватит, отцы! Навоевались.

— Нуждишки приняли, — гребемся домой.

А те, которые поотчаянней, позлей, матерно ругались, советовали:

— Пойди-ка ты, старый, потрепи хвост!

— Чево допытываешься? Какова тебе надо?

— Вас тут много шептунов!

В конце зимы под Новочеркасском уже завязывались зачатки гражданской войны, а в верховьях Дона, в хуторах и станицах, кладбищенская покоилась тишина. В куренях лишь шла скрытная, иногда прорывавшаяся наружу семейная междоусобица: старики не ладили с фронтовиками.

О войне, закипавшей под стальным градом области Войска Донского, знали лишь понаслышке; смутно разбираясь в возникавших политических течениях, выжидали событий, прислушивались.

До января и на хуторе Татарском жили тихо. Вернувшиеся с фронта казаки отдыхали возле жен, от'едались, не чуяли, что у порогов куреней караулят их горшие беды и тяготы, чем те, которые приходилось переносить на пережитой войне.

II

Мелехов Григорий в январе 1917 года был произведен за боевые отличия в хорунжие, назначен во 2-й запасный полк взводным офицером.

В сентябре он, после того, как перенес воспаление легких, получил отпуск; прожил дома полтора месяца, оправился после болезни, прошел окружную врачебную комиссию и вновь был послан в полк. После октябрьского переворота получил назначение на должность командира сотни. К этому времени можно приурочить и тот перелом в его настроениях, который произошел с ним вследствие происходивших вокруг событий и отчасти под влиянием знакомства с одним из офицеров полка — сотником Ефимом Извариным.

С Извариным Григорий познакомился в первый день приезда из отпуска, после постоянно сталкивался с ним на службе и вне службы и незаметно для самого себя подпадал под его влияние.

Ефим Изварин был сыном зажиточного казака Гундоровской станицы, образование получил в Новочеркасском юнкерском училище, по окончании его отправили на фронт в 10-й Донской казачий полк, прослужил в нем около года, получил, как он говаривал, «офицерский георгий на грудь и четырнадцать осколков ручной гранаты во все подобающие и неподобающие места» и попал для завершения недолгой своей служебной карьеры во 2-й запасный.

Человек недожинных способностей, несомненно одаренный, образованный значительно выше той нормы, которую обычно не перерастало казачье офицерство, Изварин был заядлым казаком-националистом. Февральская революция встряхнула его, дала возможность развернуться, и он, связавшись с казачьими кругами самостийного толка, умело повел агитацию за полную автономию области Войска Донского, за установление того порядка правления, который существовал на Дону еще до порабощения казачества Великороссией. Он превосходно знал историю, носил горячую голову, умом был ясен и трезв; покоряюще-красиво рисовал будущую привольную жизнь на родимом Дону — когда править будет державный Круг, когда не будет в пределах области ни одного русака, и казачество, имея на своих правительственных границах пограничные посты, будет, как с равными, не ломая шапок, говорить с Украиной и Великороссией и вести с ними торговлю и мену. Кружил Изварин головы простодушным казакам и малообразованному офицерству. Под его влияние подпал и Григорий. Вначале происходили у них горячие споры, но полуграмотный Григорий был безоружен по сравнению со своим противником, и Изварин легко разбивал его в словесных боях. Спорили обычно где-либо в углу казармы, при чем со-

чувствие слушателей клонилось всегда на сторону Изварина. Он импонировал казакам своими рассуждениями, вычерчивая картины будущей независимой жизни, трогая наиболее сокровенное, лелеемое большей частью зажиточного низового казачества.

— Как же мы без России будем жить, ежели у нас окромя пшеницы ничево нету? — спрашивал Григорий.

Изварин терпеливо раз'яснял:

— Я не мыслю самостоятельного и обособленного существования одной Донской области. На основах федерации, то-есть объединения, мы будем жить совместно с Кубанью, Терекком и горцами Кавказа. Кавказ богат минералами, там мы найдем все.

— А каменный уголь?

— У нас под рукой Донецкий бассейн.

— Но ить он принадлежит России!

— Кому он принадлежит и на чьей территории находится — это еще вопрос спорный. Но даже в том случае, если Донецкий бассейн отойдет России, — мы очень мало теряем. Наш федеративный союз будет базироваться не на промышленности. По характеру мы — край аграрный, а раз так, то для того, чтобы насытить нашу небольшую промышленность углем, мы будем закупать его в России. И не только уголь, но и многое другое нам придется покупать у России: лес, производства металлической промышленности, уголь и прочее, а взамен будем снабжать их высокосортной пшеницей, нефтью.

— А какая нам выгода отделяться?

— Прямая. Прежде всего избавимся от политической опеки, восстановим свои уничтоженные русскими царями порядки, выслем всех пришлых, иногородних. В течение десяти лет, путем ввоза из-за границы машин, так поднимем свое хозяйство, что обогатимся в десять раз. Земля эта — наша, кровью наших предков полита, костями их удобрена, а мы, покоренные Россией, защищали четыреста лет ее интересы и не думали о себе. У нас есть выходы к морю. У нас будет сильнейшая и боееспособнейшая армия и не только Украина, но Россия не осмелится посягнуть на нашу независимость! Какоево, а? Сказочная будет жизнь!

Среднего роста, статный, широкоплечий, Изварин был типичным казаком: желтоватые, цвета недозрелого овса, вьющиеся волосы, лицо смуглое, лоб покатыый белый, загар тронул только щеки и гранью лег на уровне белесых бровей. Говорил он высоким послушным тенором, в разговоре имел привычку остро ломать левую бровь и как-то по-своему поводить небольшим горбатым носом; от этого казалось, что он всегда к чему-то принохивается. Энергичская походка, самоуверенность в осанке и в открытом взгляде карих глаз отличали его от

остальных офицеров полка. Казаки относились к нему с явным уважением, пожалуй, даже с большим, чем к командиру полка.

Изварин подолгу беседовал с Григорием, и тот, чувствуя, как вновь зыбится под его ногами недавно устойчивая почва, переживал, примерно, то же, что когда-то переживал в Москве, сойдясь в глазной лечебнице Снегирева с Гаранжой. Сопоставляя слова Изварина и Гаранжи, пытался, но не мог определить, на чьей же стороне правота. Однако как-то невольно для себя, подсознательно, воспринимал новую веру, критически переосматривал нечто, прочно отложившееся в сознании.

Вскоре после октябрьского переворота у них с Извариным происходил следующий разговор.

Обуреваемый противоречиями, Григорий осторожно расспрашивал о большевиках:

— А вот скажи, Ефим Иваныч. Большевики, по твоему, как они — правильно или нет рассуждают?

Углом избочив бровь, смешливо морща нос, Изварин кхакал:

— Рассуждают? Кха-кха... Ты, милый мой, будто новорожденный... У большевиков своя программа, свои перспективы и чаяния. Большевики правы со своей точки зрения, а мы со своей. Партия большевиков, знаешь, как именуется? Нет? Ну, как же ты не знаешь? Российская социал-демократическая рабочая партия. Понял? Рабочая! Сейчас они заигрывают и с крестьянством и с казаками, но основное у них — рабочий класс. Ему они несут освобождение, крестьянству — новое, быть может, худшее порабощение. В жизни не бывает так, чтобы всем равно жилось. Большевики возьмут верх, — рабочим будет хорошо, остальным плохо. Монархия вернется, — помещикам и прочим будет хорошо, остальным плохо. Нам не нужно ни тех, ни других. Нам необходимо свое, и прежде всего избавление ото всех опекунов — будь то Корнилов, или Керенский, или Ленин. Обойдемся на своем поле и без этих пеших фигур. Избавь боже от друзей, а с врагами мы сами управимся.

— Но большинство казаков за большевиков тянут... знаешь?

— Гриша, ты, дружок, пойми вот что — это основное: сейчас казаку и крестьянину с большевиками по пути. Знаешь почему?

— Ну?

— Потому... — Изварин крутил носом, округляя его, смеялся: — Потому, что большевики стоят за мир, за немедленный мир, а казакам война вот где сейчас сидит!

Он звонко шлепал себя по тугой смуглой шее и, выравнивая изумленно вздыбленную бровь, кричал:

— Поэтому казаки пахнут большевизмом и шагают с большевиками в ногу. Но-о-о, как толь-ко кон-чит-ся вой-на и большевики протянут к казачьим владениям руки, — пути казачества и большевиков... разойдутся! Это обосновано и исторически неизбежно. Между сегодняшним укладом казачьей жизни и социализмом — конечным завершением большевистской революции — непереходимый Рубикон, пропасть... А?

— Я говорю... — глухо бурчал Григорий, — што ничево я не понимаю... Мне трудно в этом разобраться... Блукаю я, как в метель в степи...

— Ты этим не отделаешься! Жизнь заставит разобраться, и не только заставит, но и силком толкнет тебя на какую-нибудь сторону.

Разговор этот происходил в последних числах октября. А в ноябре Григорий случайно столкнулся с другим казаком, сыгравшим в истории революции на Дону немалую роль, — столкнулся Григорий с Федором Подтелковым, и после недолгих колебаний вновь перевесила в его душе прежняя правда.

В этот день изморозный дождь сеялся с полдня. Перед вечером прояснело, и Григорий решил пойти на квартиру к станичнику, подпоручкему 28-го полка Дроздову. Четверть часа спустя он уже вытирал о подстилку сапоги, стучался в дверь квартиры Дроздова. В комнате, заставленной тщедушными фикусами и потертой мебелью, кроме хозяина, сидел на складной офицерской койке, спиной к окну, здоровый, плотный казак с погонами вахмистра гвардейской батареи. Ссутулив спину, он широко расставил ноги в черных суконных шароварах, разложил на круглых широких коленях такие же широкие рыжеволосые руки. Гимнастерка туго облегла его бока, морщинилась подмышками, чуть ли не лопалась на широченной выпуклой груди. На скрип двери он повернул короткую полнокровную шею, холодно оглядел Григория и захоронил под припухлыми веками, в узких глазницах, прохладный свет зрачков.

— Обознакомьтесь. Это, Гриша, почти сосед наш, устьхоперский, Подтелков.

Григорий и Подтелков молча пожали руки. Садясь, Григорий улыбнулся хозяину.

— Я наследил тебе — не будешь ругать?

— Не, не бойсь. Хозяйка затрет... Чай будешь пить?

Хозяин — мелкорослый, подвижной, как вьюн, щелкнул самовар обкуренным, охровым ногтем, посожалел:

— Холодный придется пить.

— Я не хочу. Не беспокойся.

Григорий предложил Подтелкову папиросу. Тот долго безрезультатно пытался ухватить белую плотно вжатую в ряд трубочку своими крупными красными пальцами, багровел от смущения, досадливо сказал:

— Не ухвачу никак... Ишь, ты, проклятая!

Он наконец-то выкатил на крышку портсигара папиросу, поднял на Григория прижмуренные в улыбку, от этого еще более узкие глаза. Григорию понравилась его непринужденность, спросил:

— С каких хуторов?

— Я сам рожек с Крутовскова, — охотно заговорил Подтелков. — Там произрастал, а жил последнее время в Усть-Клиновском. Крутовский-то вы знаете — слышал, небось? Он тут почти рядом с еланской гранью. Плешаковский хутор знаешь? Ну, а за ним выходит Матвеев, а рядом уж нашей станицы Тюковновский хутор, а дальше и наши хутора, с каких я родов: Верхний и Нижний Крутовский.

Все время в разговоре он называл Григория то на «ты», то на «вы», говорил свободно и раз даже, освоившись, тронул тяжелой рукой плечо Григория. На большом, чуть рябоватом выбритом лице его светлели заботливо закрученные усы, смоченные волосы были приглажены расческой, возле мелких ушей взбиты, с левой стороны чуть курчавились начесом. Он производил бы приятное впечатление, если бы не крупный приподнятый нос да глаза. На первый взгляд не было в них ничего необычного, но, присмотревшись, Григорий почти ощутил их свинцовую тяжесть. Маленькие, похожие на картечь, они светлели из узких прорезей, как из бойниц, приземляли встречный взгляд, вlepлялись в одно место с тяжелой мертвячей упорностью.

Григорий с любопытством присматривался к нему, отметил одну характерную черту: Подтелков почти не мигал, — разговаривая, он упирал в собеседника свой невеселый взгляд, говорил переводя глаза с предмета на предмет, при чем куценькие обожженные солнцем ресницы его все время были приспущены и недвижны. Изредка лишь он опускал пухлые веки и снова рывком поднимал их, нацеливаясь картечинами глаз, обегая ими все окружающее.

— Вот любопытно, братцы! — заговорил Григорий, обращаясь к хозяину и Подтелкову. — Кончится война — и по-новому заживем. На Украине Рада правит, у нас — Войсковой круг.

— Атаман Каледин, — вполголоса поправил Подтелков.

— Все равно. Какая разница?

— Разницы-то нету, — согласился Подтелков.

— России-матушке мы теперя низко кланялись, — продолжал Григорий пересказ речей Изварина, желая выведать, как отнесутся

к этому Дроздов и этот здоровила из гвардейской батареи. — Своя власть, свои порядки. Хохлов с казачьей земли долой, протянем границы — и не подходи! Будем жить, как в старину наши прадеды жили. Я думаю, революция нам на-руку. Ты как, Дроздов?

Хозяин заюлил улыбкой, резвыми телодвижениями.

— Конечно, лучше будет! Мужики нашу силу переняли, житья за ними нету. Штой-то за чорт — наказные атаманья все какие-то немцы фон-Таубе да фон-Граббе, да разные подобные! Земли все этим штаб-офицерам резали... Теперь хучь воздохнем.

— А Россия с этим помирится? — ни к кому не обращаясь, тихо спросил Подтелков.

— Небось, помирится, — уверил Григорий.

— И будет одно и то же... Тех же щей, да пожиге влей.

— Как это так?

— А точно так, — Подтелков проворней заворочал картечинами глаз и без разбега кинул лобовой грузный взгляд на Григория. — Так же над народом, какой трудящийся, будут атаманья измываться. Тянись перед всяким их благородием, а он тебя будет ссланивать по сусалам. Тоже... Прекрасная живуха... Камень на шею, да с яру!

Григорий встал. Отмеряя по тесной горенке шаги, несколько раз касался расставленных колен Подтелкова, остановившись против него, спросил:

— А как же?

— До конца.

— До какова?

— Штоб раз начали — значит борозди до последнева. Раз, долой царя и контр-революцию, — надо стараться, штоб власть к народу перешла. А это — басни, детишкам утеха. В старину прижали нас цари, и теперь не цари, так другие-прочие придавют, аж запишим!..

— Как же, Подтелков, по-твоему?

И опять забегали, разыскивая простор в тесной горенке, тяжелые на под'ем глаза-картечины.

— Народную власть... выборная. Под генеральскую лапу ляжешь, — опять война, а нам это лишнее. Кабы такая власть кругом, по всему свету, установилась: штоб народ не притесняли, не травили на войне! А то што ж?! Худы шаровары хучь наизнанку выверни, — все одно те же дыры. — Гулко похлопав ладонями по коленям, Подтелков зло улыбнулся, раздел мелкие несчетно-плотные зубы. — Нам от старины подальше, а то в такую упряжку запрягут, што хуже царской обозначится.

Григорий, хватая рукой в воздухе что-то неуловимое, натужно спросил:

— Землю отдадим? Всем по краюхе наделим?

— Нет... зачем же? — растерялся и как будто смутился Подтелков. — Землей мы не поступимся. Промеж себя, казаков, землю поделим, помещицкую заберем, а мужикам давать нельзя. Им шуба, а нам фукава. Зачни делить, — оголодают нас.

— А править нами кто будет?

— Сами! — оживился Подтелков. — Заберем свою власть — вот и правило. Лишь бы подпрути нам зараз чудок отпустили, а скинуть Калединых сумеемся!

Остановившись у запотевшего окна, Григорий долго глядел на улицу, на детишек, игравших в какую-то замысловатую игру, на мокрые крыши противоположных домов, на бледно-серые ветви нагого осокоря в палисаднике и не слышал, о чем спорили Дроздов с Подтелковым; мучительно старался разобраться в сумятице мыслей, продумать что-то, решить.

Минут десять стоял он, молча вычерчивая на стекле вензеля. За окном, на уровне с крышей низенького дома, предзимнее, увядшее тлело на закате солнце: словно ребром поставленное на ржавый гребень крыши, оно мокро бапровело, казалось, что вот-вот сорвется, покатится по ту или эту сторону крыши. От городского сада, прибитые дождем, шершавые катились листья и, налетая с Украины, с Луганска, гайдамачил над станицей час от часу крепчавший ветер.

III

Новочеркасск стал центром притяжения для всех бежавших от большевистской революции. Стекались в низовьях Дона большие генералы, бывшие вершители судеб развалившейся русской армии, надеясь на опору реакционных донцов, мысля с этого плацдарма развернуть и повести наступление на обсоветченную Россию.

2 ноября в Новочеркасск прибыл в сопровождении ротмистра Шапрона генерал Алексеев. Переговорив с Калединым, он принял за организацию добровольческих отрядов. Бежавшие с севера офицеры, юнкера, ударники составили костяк будущей Добровольческой армии. Вокруг него в течение первых трех недель со дня приезда Алексееваросло недоброкачественное мясо: учащиеся, деклассированные элементы из солдатских частей, наиболее активные контр-революционеры из казаков и просто люди, искавшие острых приключений и повышенных окладов хотя бы и керенками.

В последних числах ноября прибыли генералы Деникин, Лукомский, Марков, Эрдели. К этому времени отряды Алексеева уже насчитывали более тысячи штыков.

6 декабря в Новочеркасске появился Корнилов, покинувший в дороге свой конвой текинцев и переодетым добравшийся до донских границ.

Каледин, успевший к этому времени стянуть на Дон почти все казачьи полки, бывшие на Румынском и Австро-германском фронтах, расположил их по железнодорожной магистрали Новочеркасск — Чертково, Ростов — Тихорецкая. Но казаки, уставшие от трехлетней войны, вернувшиеся с фронта революционно настроенными, не изжили особой охоты драться с большевиками. В составах полков оставалась чуть ли не треть нормального количества всадников. Наиболее сохранившиеся полки — 27, 44 и 2-й запасный — находились в станции Каменской. Туда же в свое время были отправлены из Петрограда лейб-гвардии Атаманский и лейб-гвардии Казачий полки. Пришедшие с фронта полки 58, 52, 43, 28, 12, 29, 35, 10, 39, 23, 8 и 14-й и батареи 6, 32, 28, 12 и 13-я были расквартированы в Черткове, Миллерове, Лихой, Глубокой, Звереве, а также в районе рудников. Полки из казаков Хоперского и Усть-Медведицкого округов прибывали на станции Филоново, Урюпинская, Себряково, некоторое время стояли там, потом рассасывались.

Властно тянули к себе родные курени, и не было такой силы, чтобы могла удержать казаков от стихийного влечения по домам. Из донских полков лишь 1, 4 и 14-й были в Петрограде, да и те задержались там ненадолго.

Некоторые, особенно ненадежные, части Каледин пытался расформировать или изолировать путем окружения наиболее устойчивыми частями.

В конце ноября, когда он в первый раз попытался двинуть на революционный Ростов фронтные части, казаки, подойдя к Аксайской, отказались идти в наступление, вернулись обратно. Широко развернувшаяся организация по сколачиванию «лоскутных» отрядов дала свои результаты: 27 ноября Каледин уже был в состоянии оперировать стойкими добровольческими отрядами, заимствуя силы и у Алексева, собравшего к тому времени пару батальонов.

2 декабря Ростов был с бою занят добровольческими частями. С приездом Корнилова туда перенесен был центр организации Добровольческой армии. Каледин остался один. Казачьи части раскидал он по границам области, двинул к Царицыну и на грань Саратовской губернии, но для актуальных, требовавших скорейшего разрешения задач употреблял лишь офицерско-партизанские отряды; на них только могла опереться изо дня в день ветшавшая, немощная войсковая власть.

Для усмирения донецких шахтеров были кинуты свежеревербованные отряды. В Макеевском районе подвизался есаул Чернецов, там же находились и части регулярного 58-го казачьего полка. В Новочеркасске наскоро формировались отряды Семилетова, Грекова, различные дружины; на севере, в Хоперском округе, сколачивался из офицеров и партизан так называемый «отряд Стеньки Разина». Но с трех сторон уже подходили к области колонны красновардейцев. В Харькове, Воронеже накапливались силы для удара. Висли над Доном тучи, сгущались, чернели. Орудийный гром первых боев уже несли ветры с Украины. Жухлые надвигались на область дни. Гиблое подходило время.

IV

Изжелта-белые грудастые, как струги, тихо проплывали над Новочеркасском облака. В вышней заоблачной синеве, прямо над сияющим куполом собора, недвижно висел седой курчавый каракуль перистой тучи, длинный хвост ее волнами снижался и розово серебрился где-то над станцией Кривянской.

Неяркое вставало солнце, но окна атаманского дворца, отражая его, жгуче светились. На домах блестели покаты железных крыш, сырость вчерашнего дождя хранил на себе бронзовый Ермак, протянувшийся на север сибирскую корону.

По Крещенскому спуску поднимался взвод пеших казаков. На штыках их винтовок туго играло солнце. Граненую тишину утра, нарушаемую редкими пешеходами да дребезжаньем извозчицкой пролетки, почти не нарушал четкий, чуть слышный шаг казаков.

В это утро с московским поездом приехал в Новочеркасск Илья Бунчук. Он последним вышел из вагона, одергивая на себе полы демисезонного старенького пальто, чувствуя себя в штатском неуверенно и непривычно.

На платформе прохаживался жандарм и две молоденькие чему-то смеявшиеся девушки. Бунчук вышел в город; дешевый, изрядно потертый чемодан нес подмышкой. За всю дорогу, до самой окраинной улицы, почти не попадались люди. Спустя полчаса Бунчук, наискось пересекший город, остановился у небольшого полуразрушенного домика. Давным-давно неремонтированный, домик этот выглядел жалко. Время наложило на него свою лапу, и под тяжестью ее ввалилась крыша, покривились стены, расхлябанно обвисли ставни, паралично перекосились окна. Бунчук, открывая калитку, взволнованно обежал глазами дом и тесный дворик, спеша зашагал к крыльцу.

В тесном коридорчике половину места занимал заваленный разной рухлядью сундук. В темноте Бунчук стукнулся коленом об угол

его, не чувствуя боли, рванул дверь. В передней низкой комнатке никого не было. Он прошел во вторую и, не найдя и там никого, стал на пороге. От страшно знакомого запаха, присущего только этому домику, у него закружилась голова. Взглядом охватил всю обстановку: тяжелый застав икон в переднем углу горницы, кровать, столик, пятнистое от старости зеркальце над ним, фотографии, несколько дряхлых венских стульев, швейную машину, тусклый от давнишнего употребления самовар на лежанке. С внезапно и остро застучавшим сердцем, через рот, как при удушьи, вдыхая воздух, Бунчук повернулся и, кинув чемодан, оглядел кухню: так же приветливо зеленела окрашенная фуксином лобастая печь, из-за голубенькой ситцевой занавески выглядывал старый пегий кот; в глазах его светилось осмысленное, почти людское любопытство, — видно, редки были посетители. На столе беспорядочно стояла немытая посуда, около, на табуретке, лежал клубок пряденой шерсти, поблескивали вязальные иглы, пронизавшие с четырех углов недоконченный паголенок чулка.

Ничто не изменилось здесь за восемь лет. Словно вчера ушел отсюда Бунчук. Он выбежал на крыльцо. Из дверей сарая, стоявшего в конце двора, вышла согорбленная, согнутая прожитым и пережитым старуха. «Мама!.. Да неужели?.. Она ли?..» Дрожа губами, Бунчук рванулся ей навстречу. Он сорвал с головы шапку, смял ее в кулаке.

— Вам кого надо? Кого вам? — встревоженно спрашивала старушка, прилаживая ладонь к выцветшим бровям, не двигаясь.

— Мама!.. — глухо прорвалось у Бунчука. — Что же ты, — не узнаешь?..

Спотыкаясь, он шел к ней, видел, как мать качнулась от его крика, как от удара, хотела, видно, бежать, но силы изменили, и она пошла толчками, будто преодолевая сопротивление ветра. Бунчук подхватил ее уже падающую, целуя маленькое сморщенное лицо, потускневшие от испуга и безумной радости глаза, моргал беспомощно и часто.

— Илюша!.. Илюшенька!.. Сыночек! Не угадала... Господи, откуда ты взялся?.. — шептала старушка, пытаясь выпрямиться и стать на ослабевшие ноги.

Они вошли в дом. И тут только, после пережитых минут глубокого волнения, Бунчука вновь стало тяготить пальто с чужого плеча, — оно стесняло, давило подмышками, путало каждое движение. Он с облегчением сбросил его, присел к столу.

— Не думала живого повидать!.. Сколько годков не видались. Родименький мой! Как же мне тебя угадать, коли ты вон как вырос, постарел?!

— Ну, ты как живешь, мама? — улыбаясь, расспрашивал Бунчук.

Путанно рассказывая, она суетилась: собирала на стол, сыпала в самовар уголья и, размазывая по заплаканному лицу слезы и угольную черноту, не раз подбегала к сыну, гладила его руки, тряслась, прижимаясь к его плечу. Она нагрела воды, накормила родного гостя, сама вымыла ему голову, достала откуда-то со дна сундука пожелтевшее от старости чистое белье и до полуночи сидела, глаз не сводила с сына, расспрашивала, горестно кивала головой.

На соседней колокольне пробило два часа, когда Бунчук улегся спать. Он уснул сразу и, засыпая, забыл настоящее: представлялось ему, что он, маленький разбойный ученик ремесленного училища, набегавшись, улегся, окунается в сон, а из кухни вот-вот откроет мать дверь, спросит строго: «Илюша, уроки-то выучил к завтраму?» — так и уснул с застывшей напряженно-радостной улыбкой.

До зари несколько раз подходила к нему мать, поправляла одеяло, подушку, целовала его большой лоб с приспущенной наискось русой прядью, неслышно уходила.

Через день Бунчук уехал. Утром пришел к нему товарищ в солдатской шинели и новехонькой защитной фуражке, что-то вполголоса сказал ему, и Бунчук засуетился, быстро собрал чемодан, кинул сверху пару выстиранного матерью белья, болезненно морщась, натянул пальто. Попрощался с матерью комканно, наспех, обещал через месяц быть.

— Куда едешь-то, Илюша?

— В Ростов, мама, в Ростов. Скоро приеду... Ты... ты, мама, не горюй! — бодрил он старуху.

Она, торопясь, сняла с себя нательный маленький крест, целуя сына, крестя его, надела на шею. Заправляла гайтан за воротник, а пальцы прыгали, кололи ледянистым холодком.

— Носи, Илюша. Это — святого Николая Мирликийского. Защити и спаси, святой угодник-милостивец, укрой и оборони... Один он у меня... — шептала, прижимаясь к кресту, горячечными глазами.

Порывисто обнимая сына, не сдержалась, углы губ дрогнули, горько поползли вниз. На волосатую руку Бунчука весенним дождем упала одна теплая капелька, другая. Бунчук разнял на своей шее руки матери, хмурилась, вырвался на крыльцо.

Народу на вокзале в Ростове — рог с рогом. Пол по щиколки засыпан окурками, подсолнечной лузгой. На вокзальной площади солдаты гарнизона торгуют казенным обмундированием, табаком, краденными вещами. Разноплеменная толпа, обычная для большинства южных приморских городов, медленно движется, гудит.

— Ас-с-смоловские, ас-с-смоловские рассыпные! — голосит мальчишка-папиросник.

— Дешево продам, гаспадин-гражданин... — заговорщицки зашептал в самое ухо Бунчука (какой-то подозрительного вида восточный человек и подмигнул на распухшую полу своей шинели).

— Семечки каленые, жареные! А вот семечки! — разноголосо вещают девицы и бабы, торгующие у входа.

Пробиваясь сквозь толпу, громко разговаривая, хохоча, прошло человек шесть матросов-черноморцев. На них праздничная форма, ленты, золото пуговиц, широкий клеш, захлостанный в грязи. Перед ними почтительно расступались.

Бунчук шел, медленно буравя толпу.

— Золотая?! Чорта с два! Самоварное твое золото... что я не вижу, что ли? — насмешливо говорил щуплый солдат искровой команды.

В ответ ему негодуяще гудел продавец, размахивая сомнительно-массивной золотой цепкой.

— Что ты видишь?.. Золото! Червонное, коли хочешь знать, у мирового судьи добыто... А ну иди к чорту, рвань! Тебе пробу подавай... а этого не хочешь?

— Флот не пойдет... что там глупости пороть! — слышится рядом.

— А чаво не пойдет?

— В газетах в этих...

— Пацан! Неси сюда!

— Мы за пятый номер голосили. Иначе нельзя, не с руки...

— Мамалыга! Вкусная мамалыга! Прикажете?

— Эшелонный обещал: мол, завтра тронемся.

Бунчук разыскал здание комитета партии, по лестнице поднялся на второй этаж. Вооруженный японской винтовкой, с привинченным ножевым штыком, ему преградил путь рабочий-красногвардеец.

— Вам кого, товарищ?

— Мне товарища Абрамсона. Он здесь?

— Третья комната налево.

Невысокий, носатый, жуково-черный человек, заложив пальцы левой руки за борт сюртука, правой методически взмахивая, напирал на собеседника — пожилого железнодорожника.

— Так нельзя! И это не есть организация! При подобных приемах агитации вы будете иметь обратные результаты!

Железнодорожник что-то хотел говорить, оправдываться, судя по омущенно-виноватому выражению его лица, но человек с жуково-черной головой не давал ему рта раскрыть; находясь, видимо, в степени крайнего раздражения, он выкрикивал, не желая слушать собеседника и избегая его взгляда.

— Сейчас же отстраните от работы Митченко! Это есть нетерпимо! Мы не можем безучастно смотреть на происходящее у вас. Верхоцкий будет отвечать перед революционным судом! Он арестован? Да?.. Я буду настаивать, чтобы его расстреляли! — жестко закончил он и повернулся к Бунчуку разгоряченным лицом; еще не окончательно овладев собой, резко спросил: — Вам что?

— Вы Абрамсон?

— Да.

Бунчук подал ему документы и письмо от одного из ответственных петроградских товарищей, присел около, на подоконнике.

Абрамсон внимательно перечитал письмо, хмуро улыбнувшись (ему неловко было за свой резкий окрик), попросил:

— Обождите несколько, сейчас мы с вами поговорим.

Он отпустил взопревшего железнодорожника, вышел, через минуту привел с собой рослого бритого военного, с голубым проследком рубленой раны вдоль нижней челюсти, с выправкой кадрового офицера.

— Это член нашего военно-революционного комитета. Познакомьтесь. Вы, товарищ... простите, я забыл вашу фамилию.

— Бунчук.

— ... товарищ Бунчук... вы, кажется, по специальности пулеметчик?

— Да.

— Это нам и требуется! — улыбнулся военный.

Шрам его на всем протяжении, от кончика уха до подбородка, порозовел от улыбки.

— Вы сможете в возможно короткий срок организовать нам пулеметную команду из рабочих-красногвардейцев? — спросил Абрамсон.

— Постараюсь. Дело во времени.

— Ну, а сколько вам необходимо времени? Неделю, две, три? — наклоняясь к Бунчуку, спрашивал военный и просто, выжидающе улыбался.

— Несколько дней.

— Отлично.

Абрамсон тер лоб, сказал с заметной ноткой раздражения:

— Части гарнизона крайне деморализованы, они не имеют реальной ценности. У нас, товарищ Бунчук, как и везде, полагаю, надежда на рабочих. Моряки — да, а солдаты... Поэтому, понимаете, и хотелось бы иметь своих пулеметчиков. — Он подергал синие кольца бороды, спросил озабоченно: — Вы как в смысле материального обеспечения? Ну, мы это устроим. Обедали вы сегодня? Ну, конечно, нет!

«Сколько же тебе пришлось голодать, браток, что ты с одного взгляда отличаешь сытого от голодного, и сколько пережил ты горя, либо ужаса, прежде чем у тебя появился вот этот клочок седины? Погром или ссылка?» — с растроганной ласковостью подумал Бунчук, глядя на жуковую голову Абрамсона, белевшую справа ослепительно ярким пятном седины. И уже шагая с провожатым на квартиру Абрамсона, Бунчук все думал о нем: «Вот это парень, вот это большевик! Есть злой упор, и в то же время сохранилось хорошее, человеческое. Он не задумается подмахнуть смертный приговор какому-нибудь саботажнику Верхоцкому и в то же время умеет беречь и заботиться о товарище».

Весь под теплым впечатлением встречи с Абрамсоном, он дошел до его квартиры где-то в конце Таганрогского, отдохнул в маленькой, заваленной книгами комнатке, пообедал, предъявив записку Абрамсона квартирной хозяйке, прилег на кровать. Услул и не помнил как.

V

В течение четырех дней с утра до вечера Бунчук занимался с рабочими, присланными в его распоряжение комитетом партии. Их было шестнадцать. Люди самых разнообразных профессий, возрастов и даже национальностей: двое грузчиков, полтавский хохол Хвыльычко и обрусевший грек Михалидзе, наборщик Степанов, восемь металлистов, забойщик с парамоновского рудника Зеленков, тщедушный пекарь армянин Геворкянц, квалифицированный слесарь из русских немцев Иоганн Ребиндер, двое рабочих депо, и семнадцатую путевку принесла женщина в ватной солдатской теплушке, в больших, не по ноге, сапогах.

Принимая от нее закрытый пакет, не догадываясь о цели ее прихода, Бунчук спросил:

— Вы на обратном пути можете зайти в штаб?

Она улыбнулась, растерянным движением поправляя широкую прядь волос, выбившуюся из-под платка, несмело сказала:

— Я направлена к вам... — и, преодолевая минутное смущение, запнулась: — в пулеметчики.

Бунчук густо покраснел.

— Что они там с ума спятили? Женский батальон у меня, что ли?.. Вы простите, но для вас это неподходящее дело: работа тяжелая, необходимо наличие мужской силы... Ведь это что же?.. Нет, я не могу вас принять!

Он, нахмуясь, вскрыл пакет, бегло пробежал путевку, где сухо вато было сказано, что в его распоряжение направляется член партии

тов. Анна Погудко, и несколько раз перечитал приложенную к путевке записку Абрамсона.

«Дорогой тов. Бунчук!

Посылаем к Вам хорошего товарища Анну Погудко. Мы уступили ее горячим настояниям и, посылая ее, надеемся, что Вы сделаете из нее боевого пулеметчика. Я знаю эту девушку. Горячо рекомендую ее Вам, прошу об одном: она — ценный работник, но горяча, немного экзальтирована (еще не перебродила молодость), удерживайте ее от безрассудных поступков, берегите.

Цементирующим составом, ядром у Вас, несомненно, есть эти восемь человек металлистов; из них обращаю внимание на т. Богового. Очень дельный и преданный революции товарищ. Ваш пулеметный отряд по составу — интернационален, — это хорошо; будет боеспособней.

Ускорьте обучение. Есть сведения, будто бы Каледин собирается в поход на нас.

С тов. приветом С. Абрамсон».

Бунчук глянул на стоявшую перед ним девушку (дело происходило в подвальном помещении, в одном из домов на Московской улице, где производилось обучение). Скупой свет тушевал ее лицо, делал черты его невнятными.

— Ну, что же?! — неласково сказал он. — Если это ваше собственное пожелание... и Абрамсон вот просит... Оставайтесь.

Зевлоротого «максима» густо облепливали со всех сторон, гроздьями висли над ним, опираясь на спины друг друга, следили жадно-любопытствующими глазами, как под умелыми руками Бунчука споро распадался он на части. Бунчук вновь собрал его четкими, рассчитанно-медленными движениями, объяснял устройство и назначение отдельных частей, учил способам обращения, показывал правила наводки, прицела, объяснял меры деривации по траектории, предельную досягаемость в полете пули. Учил, как располагаться во время боя, чтобы не подвергаться поражению под обстрелом противника, сам ложился под щит с обтрескавшейся защитной краской, говорил о преимущественном выборе места, о расположении ящиков с лентами.

Все усваивали легко, за исключением пекаря Геворкянца. У того все не клеилось: сколько ни показывал ему Бунчук правила разборки, — никак не мог запомнить, путал, терялся, шептал смущенно:

— Зачем не получается? Ах, что я... виноватый... надо вот этого сюда. Опять не выходит!.. — вскрикивал он отчаянно. — Зачем?

— Вот тебе и «зачем!» — передразнивал его смутлолицый, с синими крапинками пороха на лбу и щеках, Боговой. — Потому не получается, что бестолковый ты. Вот как надо! — показывал он, уверенно вкладывая часть в принадлежащее ей место. — Я вон с детства интерес имел к военному делу, — под общий хохот тыкал в свои синие конопини по лицу: — пушку делал, ее разорвало, — пришлось пострадать. Зато вот теперь способности проявляю.

Он и действительно легче и быстрее всех усвоил пулеметное дело. Отставал один Геворкянц. Чаще всего слышался его плачущий, раздосадованный голос:

— Опять не так! Зачем? — не знаю!

— Какой ишек, ка-а-акой ишек! На вся Нахичевань один такой! — возмущался злой мокрогоубый грек Михалидзе.

— На-редкость бестолков! — соглашался сдержанный Ребиндер.

— Оце тоби ни бублыки месить! — фыркал Хвильчико, и все беззлбно посмеивались; один Степанов, румянея, раздраженно кричал:

— Надо товарищу показывать, а не зубы скалить!

Его поддерживал Крутогоров, большой, рукастый, глаза навывкат, пожилой рабочий депо, похожий на расстригу-попа.

— Смеетесь, колотушники, а дело стоит! Товарищ Бунчук, уйми свою кунсткамеру или гони их к чертям! Революция в опасности, а им — смешки! Тоже — состоят в партии!.. Звероподобные какие-то... пра-слово! — басил он, размахивая кувалдистым кулаком.

С острой любознательностью вникала во все Анна Погудко. Она назойливо приставала к Бунчуку, хватала его за рукава неуклюжего демисезона, неотступно торчала около пулемета.

— А если вода замерзнет в кожухе — тогда что? А при большом ветре какое отклонение? А это как, товарищ Бунчук? — осаждала она вопросами и выжидающе поднимала на Бунчука большие с неверным и теплым блеском черные глаза.

В ее присутствии чувствовал он себя как-то неловко, словно отплачивая за эту неловкость, относился к ней с повышенной требовательностью, был подчеркнута холоден, но что-то волнующее, необычное испытывал, когда по утрам, исправно, ровно в семь, входила она в подвал, зябко засунув руки в рукава зеленой теплушки, шаркая подошвами больших солдатских сапог. Она была немного ниже его ростом, полна той тугой полнотой, которая присуща всем здоровым, физического труда девушкам, может быть, немного сутула и, пожалуй, даже некрасива, если б не было больших сильных глаз, диковинно красивших всю ее.

За четыре дня он даже не разглядел ее толком. В подвале было полутемно, да и неудобно, и некогда было рассматривать ее лицо. На

пятый день вечером они вышли вместе. Она шла впереди; поднявшись на последнюю ступеньку, повернулась к нему с каким-то вопросом, и Бунчук внутренне ахнул, глянув на нее при вечернем свете. Она привычным жестом оправляла волосы, ждала ответа, чуть откинув голову, скосив в его сторону глаза. Но Бунчук прослышал вопрос, медленно всходил он по ступенькам, стиснутый сладостно-болезненным чувством. Это покальвающее ознобное чувство испытывал он всегда перед большим в жизни: и в первый момент атаки, когда еще не притуплены эмоции, и слушая чуть картавую речь Ленина, чувствуя, как приземляет, жжет его разум водителя и гения, и любясь невиданно-красочной прядью заката, и решаясь на опасное; то же испытывал он и сейчас, глядя на розовые смуглые щеки девушки, на июньскую голубизну белков и непередаваемую безмерную глубь черных ее глаз. У нее от напряжения (неловко было управляться с волосами, не скинув платка) чуть шевелились просвеченные низким солнцем розовые ноздри. Линии рта были мужественны и в то же время — детски нежны. На приподнятой верхней губе темнел крохотный пушок, четче оттеняя неяркую белизну кожи. Волнующая созвучием гармония покоилась в каждой черте, в любом движении. Простая, как сказка, стояла перед ним девушка, в белых, серебрянной чистоты, зубах держала шпильки, дрожала тугой бровью — и, казалось; вот-вот растает, как звук в сосновом бору на заре

Волна восторга и густой ощутимой радости подмыла Бунчука. Он нагнул голову, будто под ударом, сказал сорвавшимся, хриплым голосом:

— Анна Погудко... пулеметчик номер второй, ты хороша, как чье-то счастье!

— Глупости! — сказала она уверенно... и улыбнулась. — Глупости, товарищ Бунчук!.. Я спрашиваю: во сколько мы пойдем на стрельбище?

От улыбки стала как-то проще, доступней, земней. Бунчук остановился с ней рядом, ошалело глядя в конец улицы, где застряло солнце, затапливая багровым половодьем все низлежащее, ответил тихо:

— На стрельбище? Завтра. Куда тебе итти? Где ты живешь?

Она назвала какой-то окраинный переулочек. Пошли вместе. На перекрестке догнал их Боговой.

— Бунчук, слушай! Как же завтра соберемся?

Дорогой пояснил Бунчук, что собираться за Тихой рощей, туда Крутогоров и Хвильчико привезут на извозчике пулемет; сбор в восемь утра. Боговой прошел с ними два квартала, распрощался. Бунчук и Анна Погудко шли пару минут молча. Она спросила, скользнув боковым взглядом:

— Вы — казак?

— Да.

— Офицер в прошлом?

— Ну, какой я офицер?!

— Откуда вы родом?

— Новочеркасский.

— Давно в Ростове?

— Несколько дней.

— А до этого?

— В Петрограде был.

— С какого года в партии?

— С 1913.

— А семья у вас где?

— В Новочеркасске, — скороговоркой буркнул он и просяще протянул руку: — Подожди, дай мне спросить: ты — уроженка Ростова?

— Нет, я родилась в Екатеринославщине, но последнее время жила здесь.

— Теперь я буду спрашивать... Украинка?

Она секунду колебалась, ответила твердо:

— Нет.

— Еврейка?

— Да. А что? Разве меня выдает язык?

— Нет.

— А почему догадался, что я — еврейка?

Он, стараясь попасть в ногу, уменьшая шаг, ответил:

— Ухо, форма уха и глаза. А так в тебе мало от твоей нации... — Подумав, добавил: — Это хорошо, что ты у нас.

— Почему? — заинтересовалась она.

— Видишь ли: за евреями упрочилась слава, и я знаю, что многие рабочие так думают — я ведь сам рабочий, — вскользь заметил он: — что евреи только направляют, а сами под огонь не идут. Это ошибочно, и ты вот блестящим образом опровергаешь это ошибочное мнение. Ты училась?

— Да, я окончила в прошлом году гимназию. А у вас какое образование? Я потому это спрашиваю, что разговор избочивает ваше нерабочее происхождение.

— Я много читал.

Шли медленно. Она нарочно кружила по переулкам и, коротко рассказав о себе, продолжала спрашивать его о корниловском выступлении, о настроении питерских рабочих, об октябрьском перевороте.

Где-то на набережной мокро хлопнули винтовочные выстрелы, отрывисто высек тишину пулемет. Анна не преминула спросить:

— Какой системы?

— Льюис.

— Какая часть ленты израсходована?

Бунчук не ответил, любясь на оранжевый, посыпанный изумрудной изморозью щупалец прожектора, рукасто тянувшийся от стоявшего на якоре тральщика на вершине вечернего погоревшего в закате неба.

Проходив часа три по безлюдному городу, они расстались у ворот ее квартиры.

Бунчук возвращался домой согретый неосознанной внутренней удовлетворенностью. «Хороший товарищ, умная девушка! Хорошо так поговорили с ней — и вот тепло на душе. Огрубел за это время, а дружеское общение с людьми необходимо, иначе зачерствеешь, как солдатский сухарь...», — думал он, обманывая самого себя и сам сознавая, что обманывает.

Абрамсон, только что пришедший с заседания военно-революционного комитета, стал расспрашивать о подготовке пулеметчиков; между прочим, спросил и об Анне Погудко:

— Как она? Если не подходяща, — мы ее можем направить на другую работу, заменить.

— Нет, что ты?! — испугался Бунчук. — Очень способная девушка!

Он испытывал почти непреодолимое желание говорить о ней и сдержался лишь благодаря большому усилию воли.

VI

25 ноября в полдень к Ростову были стянуты из Новочеркасска войска Каледина. Началось наступление. Над линией железной дороги, по обе стороны насыпи, шли жидкие цепи офицерского алексеевского отряда. На правом фланге погуще двигались серые фигуры юнкеров. Партизаны отряда Попова обтекали красноглинистый ярк на левом фланге. Некоторые, издали казавшиеся крохотными серыми комочками, прыгали в яр, перебираясь на эту сторону, подтягивались, останавливались, вновь текли.

В красногвардейской цепи, рассыпавшейся на окраинах Нахичевани, сказывалось суетливое беспокойство. Рабочие, многие в первый раз взявшие винтовки, испытывали боязнь, переползали, пачкая свои черные пальто осенней грязью, иные поднимали головы, рассматривали далекие, уменьшенные пространством фигуры белых.

Около пулемета в цепи Бунчук, привстав на колени, глядел в бинокль. Накануне он променял свой несуразный демисезон на шинель, чувствовал себя в ней привычно, спокойно.

Огонь открыли без команды. Не выдержали напряженной тишины.

Едва лишь жиганул первый выстрел, Бунчук выругался, крикнул, вставая во весь рост:

— Пре-кра-титы!..

Крик его захлеснула дробная стукотуха выстрелов, и он махнул рукой, стараясь перекрычать стрельбу, скомандовал Боговому «огонь!» Тот припал к замку улыбающимся, но землистым лицом, положил пальцы на ручки затыльника. Знакомая строчка пулемета пронизала слух Бунчука. Минуту он вглядывался в направлении залегшей цепи противника, стараясь определить попадание, потом, вскочив, побежал над цепью к остальным пулеметам.

— Огонь!

— Даем!.. Го-го-го-го! — выл Хвылычко, поворачивая к нему напуганное и счастливое лицо.

Около третьего от центра пулемета были ребята не совсем надежные. Бунчук бежал к ним. На полупути он, пригнувшись, поглядел в бинокль: в запотевших окружках стекол выднелись шевелившиеся серые комочки. Оттуда ударили четким, сколоченным залпом. Бунчук упал и уже лежа определил, что прицел третьего пулемета не верен.

— Ниже! Черти!.. — кричал он, извиваясь, переползая над цепью.

Пули тянули над ним близкий смертный высвист. Правильно, как на ученьи, стреляли алексеевцы.

У пулемета, нелепо-высоко задравшего нос, пластами лежали номера: наводчик грек Михалидзе, взяв несуразно высокий прицел, жарил без передышки, растрачивая запас лент; около него квохтал перепуганный, позеленевший Степанов, сзади, воткнув голову в землю, сгорбясь, как черепаха, чуть приподнявшись на вытянутых ногах, корячился железнодорожник товарищ Крутогоров.

Оттолкнув Михалидзе, Бунчук долго шурился, примеривая прицел, а когда рубанул и, содрогаясь, размеренно зататакал под его руками пулемет, — сказались и результаты: перебиравшаяся перебежкой кучка юнкеров сыпанула с пригорка назад, потеряла одного на суглинистой плешине.

Бунчук вернулся к своему пулемету. Бледный Боговой (ярче синели пороховые пятна на его щеках) лежал на боку, выхаркивая ругательства, перевязывал раненую в мякоть ногу.

— Стреляй, в закон-мать!.. — становясь на четвереньки, орал рядом лежавший огнисто-рыжий красногвардеец. — Стреляй! Не видишь, што наступают?!.

Цепи офицерского отряда парадной перебежкой текли над насыпью.

Богового заменил Ребиндер. Умело, экономно, не горячась, повел стрельбу.

А с левого фланга заячьими скачками вскидывался Геворкянц, падал от каждой пролетавшей над ним пули, охая, прыгал к Бунчуку:

— Не могу!.. Не могу!.. Не подвиходит!.. Не стреляет!

Бунчук, почти не прикрываясь, бегом скользил над изломисто легкой цепью.

Еще издали увидел: Анна на коленях стоит возле пулемета, из-под ладони, отводя нависающую прядь волос, смотрит на вражескую цепь.

— Ложись!.. — чернея от страха за нее, наливаясь кровью, крикнул Бунчук. — Ложись, тебе говорят.

Она глянула в его сторону — и осталась также стоять. С губ Бунчука просилось тяжелое, как камень, ругательство. Он добежал до нее, с силой пригнул к земле.

За щитом сопел Крутогоров.

— Заело! Не идет! — дрожа, прошептал он Бунчуку и, ища глазами Геворкянца, поперхнулся криком: — Сбежал, проклятый! Ихти-завр твой допотопный сбежал... Он мне душу разодрал своими стопами!.. Работать не дает!..

Геворкянц подполз, извиваясь по-змеиному. На черной щетине его небритой бороды засохла грязь. Крутогоров секунду смотрел на него, повернув бычью потную шею, завопил, покрывая гром стрельбы:

— Ленты куда задевал?.. Звероподие!.. Ископаемый!.. Бунчук! Бунчук! Убери его — я его уничтожу!..

Бунчук копался над пулеметом. Пуля с силой цокнула в щит, — и он отдернул руки, как от горячего.

Наладив неисправность, сам повел стрельбу. Заставил лечь бесстрашно перебежавших алексеевцев и отполз, разыскивая глазами прикрытие.

Цепи противника подвигались ближе. В бинокль видно было, как партизаны шли — винтовки на ремнях, редко ложась. Огонь их стал жестче. В красногвардейской цепи у трех уже, подползая, взяли товарищи винтовки и патроны, — мертвым оружие не надобно... На глазах Анны и Бунчука, лежавшего рядом с пулеметом Крутогорова, в цепи сразила пуля молоденького парнишку-красногвардейца. Он долго бился и хрипел, колотил землю ногами в обмотках, и под конец, опираясь на разбросанные руки, привстал, покряхтел, ткнулся лицом, в последний раз выдохнув воздух. Бунчук смотрел сбоку на Анну. Из огромных, расширенных глаз девушк^т сочился текучий ужас. Она, не мигая,

глядела на ноги убитого парня в солдатских, измочаленных временем обмотках, не слышала, как Крутогоров в упор кричал ей:

— Ленту!.. Ленту!.. Давай!.. Девка, давай, ленту!

Глубоким фланговым охватом калединцы оттеснили красногвардейскую цепь. По улицам предместья Нахичевани мелькали черные пальто и шинели отступавших красногвардейцев. Крайний с правого фланга пулемет попал в руки белых. Грека Михалидзе в упор застрелил какой-то португепей-юнкер; бежал из номерных один лишь наборщик Степанов.

Отступление приостановилось, когда с тральщиков первые полетели снаряды.

— В цепь!.. За мной!.. — крикнул, выбегая вперед, знакомый Бунчуку член ревкома.

Качнулась и, ломаясь, пошла в наступление красногвардейская цепь. Мимо Бунчука и жавшихся к нему Крутогорова, Анны и Геворкянца прошли трое — почти рядом. Один курил, другой на ходу стучал по колену затвором винтовки, третий сосредоточенно разглядывал измазанные полы своего пальто. На лице его, в кончиках усов, путалась виноватая усмешка — словно не на смерть шел он, а возвращался с товарищеской пирушки домой и, глядя на измазанное пальто, определял степень наказания, которому подвергнет его сварливая жинка.

— Вон они! — крикнул Крутогоров, указывая на дальнюю изгородь и копошившихся за ней серых человечков.

— Устанавливай! — Бунчук по-медвежьки крутнул пулемет.

Бодрый говор его заставил Анну заткнуть уши. Она присела, видела, как за изгородью стихло движение, а через минуту оттуда размеренно забились залпы, и, высверливая невидимые дыры в хмарной парусине неба, потекли над головами пули.

Колотилась барабанная дробь пачечной стрельбы, сухо выгорали змеившиеся над пулеметами ленты. Одиночные выстрелы лопались полнотонно и зрело. Давил скрежещущий, перемешанный с визгом вой пролетающих через головы снарядов, посылаемых черноморцами с тральщиков. Анна видела: один из красногвардейцев, рослый, в мерлушковой шапке, с усами, подстриженными по-английски, встречая и невольным поклоном провожая каждый пролетающий снаряд, кричал:

— Сыпь, Семен, подсыпай, Семен! Сыпь им гуще!

Снаряды и в самом деле ложились гуще. Моряки, пристрелявшись, вели комбинированный огонь. Отдельные кучки медленно отходивших калединцев покрывались частыми очередями шрапнели. Один из снарядов орудия, бившего на поражение, разорвался среди отступавшей неприятельской цепи. Бурый столб разрыва разметал людей, над ворон-

кой, опадая, рассывался дым. Анна бросила бинокль, ахнула, грязными ладонями закрыла опаленные ужасом глаза, — она видела в близком окружении стекловых смерчовых вихрей разрыва и чужую гибель. Горло ее перехватила прогорклая спазма.

— Что? — крикнул Бунчук, наклоняясь к ней.

Она стиснула зубы, расширенные зрачки ее тускло дымились.

— Не могу...

— Мужайся! Ты... Анна, слышишь? Слышишь?.. Нель-зя так!.. Нель-зя!.. — стучался ей в ухо властным окриком команды.

На правом фланге, на подступах к небольшой возвышенности, в балке накапливалась пехота противника. Бунчук заметил это, перебежав с пулеметом на более удобное место, взял возвышенность и балку под обстрел.

«Та-та-та-та-та-та!.. Та-та-та-та-та-так!» — неровно, обрывисто работал пулемет Ребиндера.

Шагах в двадцати кто-то, охрипый, сердитый, кричал:

— Носилки!.. Нет носилок?.. Носилки!..

— Прице-е-ел... — тягуче пел голос взводного из фронтовых солдат: — восемнадцать... Взвод, пли!..

К вечеру над суровой землей, снижаясь, завертелись первые снежинки. Через час мокрый, липкий снег жидкой белью притрусил поле и суглинисто-черные комочки убитых, никло polegших везде, где, наступая и отходя, топтались цепи сражавшихся.

К вечеру отошли калединцы.

В эту мутно-белевшую молодым снегом ночь Бунчук был в пулеметной заставе. Крутогоров, накинув на голову где-то добытую богатую попону, ел мокрое волокнистое мясо, плевал, ругался вполголоса. Геворкянц здесь же, в воротах окраинного двора, грел над цыгаркой синие, сведенные холодом пальцы, а Бунчук сидел на цинковом патронном ящике, кутая в полу шинели зябко дрожавшую Анну, отрывал от глаз ее плотно прижатые влажные ладони, изредка целовал их. Непривычные, туго сходили с губ слова нежности.

— Ну, как же это так?.. Ты ведь твердая была... Аня, послушай, возьми себя в руки!.. Аня!.. Милая... дружиче!.. К этому привыкнешь... Если гордость не позволяет тебе уйти, то будь иной. А на убитых нельзя так смотреть... Проходи мимо и — всё! Не давай, мыслям воли, взнуздывай их. Вот, видишь: хотя ты и говорила, а женское одолевает тебя.

Анна молчала. Пахли ладони ее осенней землей и теплом женщины.

Перепадающий снежок крыл небо тусклой, ласковой поволокой. Хмельная дрема стыла над двором, над близким полем, над городом, притаившимся по-звериному.

VII

Шесть дней под Ростовом и в самом Ростове шли бои. Дрались на улицах и перекрестках. Два раза красногвардейцы сдавали ростовский вокзал и оба раза выбивали оттуда противника. За шесть дней не было пленных ни с той, ни с другой стороны.

Перед вечером 26 ноября Бунчук, проходя с Анной мимо товарной станции, увидел, как двое красногвардейцев пристреливают офицера, взятого в плен; отвернувшейся Анне сказал чуть вызывающе:

— Вот это мудро! Убивать их надо, истреблять без пощады! Они нам пощады не дадут, да мы в ней и не нуждаемся, и их нечего миловать. К чорту! Сгрести с земли эту нечисть! И вообще — без сантиментов, раз дело идет об участии революции. Правы они, эти рабочие!

На третий день он заболел. Сутки держался на ногах, ощущая постоянную нарастающую тошноту, слабость во всем теле, чугунным звоном и непреодолимой тяжестью наливавшуюся голову.

Растрепанные красногвардейские отрядики уходили из города на рассвете 2 декабря. Бунчук шел за повозкой с пулеметом и ранеными, поддерживаемый Анной и Крутогоровым. Он с величайшим трудом нес свое обмякшее, бессильное тело, как во сне переставлял железно-неподатливые ноги, встречал далекий призывно-встревоженный взгляд Анны, и словно издалека слух его воспринимал ее слова.

— Сядь на повозку, Илья. Слышишь? Ты понимаешь меня, Илюша? Прошу тебя, присядь, ведь ты болен!

Но Бунчук не понимал ее слов, не понимал и того, что, надломив, борет и уже одолел его тиф. Где-то снаружи бились, не проникая в сознание, чужие и странно-знакомые голоса, где-то, удаленные расстоянием, горели иступленным, тревожным огнем черные глаза Анны, чудовищно раскачиваясь клубилась борода Крутогорова.

Бунчук хватался за голову, прижимал к пылающему, багровому лицу свои волосатые широкие ладони. Ему казалось, что из глаз его сочится кровь, а весь мир, безбрежный, неустойчивый, отгороженный от него какой-то невидимой занавесью, дыбитсЯ, рвется из-под ног. Бредовое воображение его лепило невероятные представления. Он часто останавливался, сопротивлялся Крутогорову, хотевшему усадить его на повозку.

— Не надо! Подожди! Ты кто такой?.. А где Анна?.. Дай мне земли комочек... А этих уничтожай — под пулемет по моей команде! Наводка прямая!.. Постой! Горячо!.. — хрипел он, выдергивая из рук Анны свою руку.

Его силой уложили на повозку. Минуту он еще ощущал резкую смесь каких-то разнородных запахов, видел хаотическое преломление световых эффектов, со страхом пытался вернуть сознание, переламывал себя — и не переломил. Замкнулась над ним черная, набухшая беззвучием пустота, лишь где-то в вышине углисто горел какой-то опаловый, окрашенный лазурной полубизною клочок, да скрещивались зигзаги и петли червонных молний.

VIII

С крыш падали пожелтевшие от соломы сосульки, разбивались с хрустким стеклянным звоном. В хуторе лужинами и проталинами цвела оттепель; по улицам, принохиваясь, бродили невылинявшие коровы. По-весеннему чулюкали воробьи, копошась в кучах сваленного на базах хвороста. На площади Мартин Шамиль гонял за обежавшим с база сытым рыжим конем. Конь, круто поднимая мочалистый донской хвост, трепля по ветру нерасчесанную гриву, взбрыкивал, далеко кидал с копыт комья талого снега, делал круги по площади, останавливался у церковной ограды, нюхал кирпич; подпуская хозяина, косил фиолетовый глаз на уздечку в его руках и вновь вытягивал спину в бешеном намете.

Пасмурными теплыми днями баловал землю январь. Казаки, глядя на Дон, ждали преждевременного разлива. Мирон Григорьевич в этот день долго стоял на заднем базу, глядел на взбухший снегом луг, на ледяную сизозелень Дона, думал: «Гляди, накупает и в нынешнем году, как в прошлом. Снегов-то, снегов навалило! Небось, тяжело под ними землице, — не вздохнет!»

Митька в одной защитной гимнастерке чистил коровий баз. Белая папаха чудом держалась на его затылке. Мокрые от пота, прямые волосы падали на лоб, он отводил их тылом грязной, провонявшей навозом ладони. У ворот базка лежали обитые в кучу мерзлые слитки скотиньего помета, по ним топтался пушистый козел. Овцы жались к плетню. Ярка, переросшая мать, пыталась сосать ее, мать гнала ее ударами головы. В стороне кольцоерогий черный чесался о соху валух.

У амбара, с желтой, окрашенной глиной, дверью валялся на сугреве брудастый, желтобровый кобель. Снаружи под навесом, на стенах амбара висели вентери; на них глядел дед Гришака, опираясь на костыль, — видно, думал о близкой весне и починке рыболовных снастей.

Мирон Григорьевич прошел на гумно, хозяйским глазом обмерял прикладки сена, начал-было подгрести граблями раздерганную козами просяную солому, но до слуха его дошли чужие голоса. Он кинул на скирд грабли, пошел на баз.

Митька, отставив ногу, вертел папироску, богато расшитый любушкой кисет держал между двух пальцев. Около него стояли Христоня и Иван Алексеевич. Со дна голубой атаманской фуражки Христоня доставал замусоленную курительную бумажку. Иван Алексеевич, прислонясь к плетеным воротцам база, распахнув шинель, шарил по карманам ватных солдатских штанов. На глянцево-выбритом лице, с глубокой, черневшей на подбородке, дыркой, тенилась досада — видимо, забыл что-то.

— Здорово ночевал, Мирон Григорич! — поздоровался Христоня.

— Слаба богу, служивые!

— Иди под общий кур.

— Спаси Христос. Недавно покурил.

Поручкавшись с казаками, Мирон Григорьевич снял красновехий треух, погладил сторчмя стоявшие белесые волосы и улыбнулся.

— Из чево доброва пожаловали, братцы-атаманцы?

Христоня сверху вниз поглядел на него, ответил не сразу: сначала долго слюнил бумажку, елозил по ней большим, как у быка, шершавым языком и, уже скрутив, пробасил:

— К Митрию, стал-быть, дельце есть.

Мимо прошаркал дед Гришака. Ободья вентерей нес держа наотлет. Иван Алексеевич и Христоня, здороваясь с ним, сняли шапки. Дед Гришака отнес к крыльцу вентери, вернулся.

— Вы чево ж это, вояки, дома сидите? Пригрелись возля баб? — обратился он к казакам.

— А што? — спросил Христоня.

— Ты, Христошка замолчь! Кубыть и не знаешь?

— Ей-богу, не знаю! — забожился Христоня. — Вот те крест, деданя, не знаю!

— Человек надьсь ехал с Воронежа, купец, знакомец Сергея Платоньча Мохова, али сродствие ему какое доводится, — не знаю. Ну, так вот, ехал и гутарил, што на Чертковой стоит чужая войска — большаки эти самые. Русь на нас войной идет, а вы — по домам? И ты поганец... слышишь, Митька? Ты-то чево молчишь? Чево вы думаете?

— А ничево мы не думаем, — улыбнулся Иван Алексеевич.

— То-то и беда, што ничего не думаете! — горячился дед Гришака. — Вас, как куропатей, в осилки возьмут! Вот заполонят вас мужики, набьют вам сопелки...

Мирон Григорьевич сдержанно улыбался; Христоня, проводя по щекам рукой, шуршал щетиной давно небритой бороды; Иван Алексеевич, покуривая, глядел на Митьку, а у того в сторчевых кошачьих зрачках теплились огоньки, и нельзя было понять — смеются желтые его глаза или дымятся несытой злобой.

Поговорив немного, Иван Алексеевич и Христоня попрощались, отозвали к калитке Митьку.

— Ты почему вчера не пришел на собрание? — строго спросил Иван Алексеевич.

— Время не указало.

— А к Мелеховым было время ходить?

Митька кивком головы кинул на лоб папаху, сказал, скрытно злобась:

— Не пришел — и всё тут. Об чем будем гутарить?

— Были все хуторные фронтовики, Петро Мелехов не был. Ты знаешь... решили делегатов посылать от хутора в Каменскую. Там десятова января съезд фронтовиков. Жребий трясли, досталось нам троим ехать: мне, Христану вот и тебе.

— Я не поеду, — решительно заявил Митька.

— Ты што? — Христоня нахмурился и взял его за пуговицу гимнастерки. — Отбиваешься от своих? Не с руки?

— Он с Мелеховым Петькой... — Иван Алексеевич тронул рукав христониной шинели, сказал заметно бледняя: — Ну, пойдём. Тут, видно, делать нам нечево... Не поедешь, Митрий?

— Нет... Сказал «нет», значит — нет.

— Прощай! — скособочил Христоня голову.

— Час добрый!

Митька, отводя взгляд, протянул ему горячую руку, пошел к курению.

— Гад! — вполголоса сказал Иван Алексеевич и коротко подрождал ноздрями. — Гад! — звонче повторил он, глядя в широкую спину уходящего Митьки.

Дорогой, заходя попутно, уведомили кое-кого из фронтовиков, что Коршунов отказался ехать, и что завтра они вдвоем выезжают на съезд.

8 января с рассветом Христоня и Иван Алексеевич выехали из хутора. Вез их по собственной охоте Яков Подкова. Пара добрых коней в дышловой запряжке быстренько миновала хутор, выбралась на бутор. Оттепель оголила дорогу. Местами, где слез снег, полозья липли к земле, сани двигались толчками, лошади налегали, натягивая постромки.

Казаки шли сзади саней. Подкова, красный от легкого утренника, шагал, с хрустом дробя сапогами звонистый ледок. На лице его полыхал румянец, лишь овальный шрам трупно синел.

Сбочь дороги, по зернистому осевшему снегу, гребся в гору Христоня, хватая легкими воздух, задыхаясь, потому что пришлось в 1916 году понюхать под Дубно немецких удушливых газов.

На бугре широко гуляли ветры. Было холодней. Казаки молчали. Иван Алексеевич кутал лицо воротником тулупа. Дальний приближался лесок. Дорога, прокалывая его, выходила на курганистый гребень. В лесу ручьи журчили ветер. На стволах сохатых дубов золотую прозеленью узорились чешуйчатые плиты ржавчины. Где-то далеко стрекотала сорока. Она пролетела над дорогой, косо избочив хвост. Ветер сносил ее, и в стремительном полете летела она, накренившись, мелькая рябым опереньем.

Подкова, молчавший от самого хутора, повернулся к Ивану Алексеевичу, сказал раздельно (наверное, давно заготовив в уме эту фразу):

— На с'езде постарайтесь, штоб было без войны дело. Охотников не найдется.

— Понятно, — согласился Христоня, завистливо глядя на вольный полет сороки, и в мыслях сравнил бездумно-счастливую птичью жизнь с людской.

В Каменскую они приехали к вечеру 10 января. По улицам большой станицы шли к центру толпы казаков. Чувствовалось заметное оживление. Разыскав квартиру Мелехова Григория, Иван Алексеевич и Христоня узнали, что его дома нет. Хозяйка, дородная, белобрысая женщина, сказала, что квартирант ушел на с'езд.

— Где он, этот самый, стал-быть, с'езд? — спросил Христоня.

— Наверное, в окружном управлении или на почте, — ответила хозяйка, равнодушно захлопывая дверь перед носом Христоня.

С'езд был в полном разгаре. Большая, многооконная комната едва вместила делегатов. Многие казаки толпились на лестнице, в коридорах, в соседних комнатах.

— Держи за мной, — закричал Христоня, работая локтями.

В узкую щель, образовавшуюся за ним, устремился Иван Алексеевич. Почти у самого входа в комнату, где происходил с'езд, Христоню остановил один из казаков, — судя по выговору, низовской.

— Ты бы потише толкался, чебак! — язвительно сказал он.

— Пусти, што ль!

— Постоишь и тут! Видишь — некуда!

— Пусти, комарь, а то — к ногтю. Раздавлю, стал-быть! — пообещал Христоня и, легко приподняв, передвинул мелкорослого казака, шагнул вперед.

— Ай, да ведьмедишше!

— Здорово атаманец!

— Трясило добрый! На нем бы четырехдюймовые возить!

— Как он ево посунул-то!

Казачи, стоявшие тесным гуртом, заулыбались, с невольным почтением разглядывая Христоню, бывшего на голову выше всех.

Григория нашли у задней стены. Сидя на корточках, он курил, беседовал с каким-то казаком-делегатом 35-го полка. Он увидел хуторян — и вислые воронено-черные усы его дрогнули в улыбке.

— Тю... каким вас ветром занесло? Здорово, Иван Алексеев! Здорово живешь, дядя Христан!

— Здорова, да, стал-быть, не дуже семенна, — посмеивался Христоня, забирая в свою полуаршинную ладонь всю руку Григория.

— Как там наши?

— Слава богу. Поклон прислали. Отец наказывал, чтоб приехал проведать.

— Петро как?

— Петро... — Иван Алексеевич неловко улыбнулся: — Петро с нашим братом не якшается.

— Знаю. Ну, а Наталья? Детишки? Припадало видать?

— Все здоровые, кланялись. Батяшка-то обиду держит...

Христоня, поводя головой, разглядывал сидевший за столом президиум. Ему и сзади было видней всех. Григорий продолжал расспрашивать, пользуясь небольшим перерывом в заседании. Рассказывая про хутор, про хуторские новости, Иван Алексеевич кратко передал о собрании фронтовиков, пославших его с Христоней сюда. Он начал было разузнавать, что и как происходит в Каменской, но в это время кто-то из сидевших за столом зыкнул:

— Зараз, станишники, скажет делегат от рабочих шахтеров — Сырцов. Просьба — слушать со вниманием, а также порядок блюсть.

Толстогубый, среднего роста человек поправил зачесанные вверх лусые волосы, заговорил. Сразу, как обрубленный, смолк пчелиный гуд волосов.

С первых же слов его горячей, прожженной страстью речи Григорий и остальные почувствовали силу чужого убеждения. Он говорил о предательской политике Каледина, толкающего казачество на борьбу с рабочим классом и крестьянством России, об общности интересов казаков и рабочих, о целях, которые преследуют большевики, ведя борьбу с казачьей контр-революцией.

— Мы протягиваем братскую руку трудовому казачеству и надеемся, что в борьбе с белогвардейской бандой мы найдем верных союзников в лице фронтового казачества. На фронтах царской войны рабочие и казаки вместе лили кровь, и в войне со слетками буржуазии, при ретыми Калединым, мы должны быть вместе — и будем вместе! Рука с рукой мы пойдем в бой с теми, кто поработал трудящихся в течение целых столетий! — гремел его тубный голос.

— С-с-сукин сын! Язви его в почки!..— восторженно шептал Христоня и так стискивал локоть Григория, что тот морщился.

Иван Алексеевич слушал, чуть полуоткрыв рот, от напряжения часто мигал, бормотал:

— Верно! Вот это — верно!

После Сырцова говорил, раскачиваясь, как ясень под ветром, какой-то высокий шахтер. Встал он, выпрямился, будто складной, оглядел многоглазую толпу и долго выжидал, пока потишеет гомон. Был шахтер этот вроде баржевого каната: узловат, надежно крепок, сух, отсвечивал зеленым — будто прокупорошенный. В порах лица его крохотными, несмываемыми точками чернела угольная пыль, и таким же угольным блеском томились соловые, обесцвеченные вечными потемками и черными пластами земляной утробы глаза. Он встряхнул короткими волосами — хлопьями просмоленной пакли, взмахом стиснутых в кулачья рук — как кайло всадил.

— Кто на фронте ввел смертную казнь для солдат? Корнилов! Кто с Калединым душит нас? Он! — и зачистил, захлестнулся криком:— Казаки! Братцы! Братцы! Братцы! К кому же вы пристанете? Каледину охота есть, чтоб мы кровью братской опились! Нет! Нет! Не будет ихнего дела! Задавим, в бога, в потемки мать! Гидров этих в море спрудим!

— С-с-сукин сын!.. — раздирая рот улыбкой, всплеснул руками Христоня — и не выдержал, загоготал:

— Вер-на-а!.. Дай им звару!

— Заткнись! Христан, што ты? Выкинут тебя! — испугался Иван Алексеевич.

Лагутин — букановский казак и первый председатель казачьего отдела при ВЦИКе второго созыва — жег казаков корявыми, нескладными, но бравшими за живое словами. Говорил председательствовавший Подтелков, его сменил красивый, с усами, подстриженными по-английски, Щаденко.

— Кто это? — вытягивая граблястую руку, попытался у Григория Христоня.

— Щаденко. Командир у большевиков.

— А это?

— Мандельштам.

— Откель?

— С Москвы.

— А эти кто такие? — указывал Христоня на группу делегатов воронежского с'езда

— Помолчи хучь трошки, Христан.

— Господи божа, да ить, стал-быть, любопытственнo!.. Ты мне скажи: вон энтот, што рядом с Подтелковым сидит, длинноликий такой, он — кто?

— Кривошлыков, еланский, с хутора Горбатова. За ним наши — Кудинов, Донеков.

— Ишо разок спытаю... А вон энтот... да нет!.. вон крайний, с чубом?

— Елисеев... не знаю, какой станицы. Рядом с ним, никак, Дорошев.

Христоня, удовлетворенный, замолкал, слушал нового оратора с прежним неослабным вниманием; первый покрывал сотни голосов своим густым октавистым «верна-а-а!..»

После Стехина, одного из казаков-большевиков, выступил делегат 44-го полка. Он долго давился вымученными, шершавыми фразами: скажет слово, как тавро поставит в воздухе, — и молчит, шморгает носом; но казаки слушали его с большим сочувствием, изредка лишь прерывали криками одобрения. То, что говорил он, видимо, находило среди них живой отклик.

— Братцы! Надо нашему с'езду так подойти к этому сурьезному делу, штоб не было народу обидно и штоб покончилось оно всё тихо-благо! — тянул он, как заика. — Я к тому говорю, штоб обойтись нам без кровавой войны. И так три года с половиной мурели в окопах, а ежли, к тому сказать, ишо доведется воевать, тo казаки уморились...

— Правильна-а-а!..

— Совершенно верно!

— Не хотим войны!..

— Надо договориться и с большевиками и с Войсковым кругом!

— Миром надо, а не абы как!.. Нечего шаровариться!

Подтелков громил кулаками стол — и рев смолкал. Вновь, потрагивая сибирьковую бородку, тянул делегат 44-го полка:

— Надо нам послать своих от с'езда депутатов в Новочеркасск и добром попросить, штоб добровольцы и разные партизаны уходили отсель. А большевикам у нас то же самое делать нечево. Мы со врагами рабочева народа сами сладим. Чужой помочи нам покеда што не требуется, а как потребуется, — мы их тады попросим оказать нам помочь.

— Ни то управимся, ни то нет!

— Не к делу этакая речь!..

— Верна-а-а!

— Погоди, погоди! Чеве «верна»? А ну, как они нас прижмут на оклизком, а тогда — проси пдмочи. Нет, пока поспеют каньши, так у бабушки не будет и души.

— Свою власть надо исделать.

— Курочка в гнезде, а яичко ишо... прости бог! То-то народ глупой!

После делегата 44-го полка сыпал призывно-горячие слова Лагутин. Его прерывали криками. Поступило предложение назначить перерыв на десять минут, но сейчас же, как только восстановилась тишина, Подтелков кинул в жарко согретую толпу:

— Братья казаки! Покедова мы тут совещаемся, а враги трудовова народа не дремают. Мы всё хотим, штоб и волки были сытые и овцы целые, а Каледин — он не так думает. Нами перехвачен его приказ об аресте всех участников вот этого с'езда. Сейчас этот приказ будет прочитан вслух.

По толпам делегатов зыбью прошлось волнение после прочтения приказа Каледина об аресте членов с'езда. Вздрыбился шум, в стократ больший, чем на любом станичном майдане.

— Дело делать, а не разговорами заниматься!

— Тиш-ш-ше!... Чш-ш-ш!..

— Чево там «тише»?! Круши!..

— Лобов! Лобов!.. Скажи им словцо!..

— Погодим трошки!..

— Каледин — он не дурак!

Григорий молча вслушивался, месил глазами заходившие в раскачку головы и руки делегатов и не утерпел, приподнимаясь на цыпочки, загорланил:

— Да замолчите же, черти!.. Базар вам тут? Дайте вон Подтелкову слово сказать!..

Иван Алексеевич сцепился спорить с одним из делегатов 8-го полка; Христоня рычал, отбиваясь от нападавшего на него полчанина:

— Тут на карауле надо, стал-быть, находиться! Ты мне... да чево ты брешешь?.. Маланья! Эх, ты, друг-другок! Курюк у нас тонок — самим управиться!

Громыканье голосов улеглось (так выбившийся из сил ветер ложится на волну пшеницы и клонит ее долу), в нездоровую тишину всверлился девичье-тонкий голос Кривошлыкова:

— Долой Каледина! Да здравствует казачий Военно-революционный комитет!

Толпа застонала. В тяжелый, хлещущий по ушам жгут скрутились слитные раскатистые крики одобрения. Кривошлыков остался стоять с поднятой рукой. Пальцы на ней, как листья на черенках, мелко дрожали. Едва лишь, немея, простерся оглушительный рев, он так же тонко, залиvisto и голосисто, как на травле волка, крикнул:

— Предлагаю избрать из своей среды казачий Военно-революционный комитет! Ему поручить вести борьбу с Калединым и органи...

— Га-а-а-а!.. — снарядным взрывом лопнул крик, осколками посыпались с потолка куски отвалившейся штукатурки.

Начались выборы членов ревкома. Незначительная часть казаков, руководимая выступавшим делегатом 44-го полка и другими, продолжала настаивать на мирном улажении конфликта с войсковым правительством, но большинство присутствовавших на с'езде уже не поддерживало их; казаки взбурлились, заслушав приказ Каледина об их аресте, настаивали на активном противодействии Новочеркасску.

Григорий не дождался конца выборов, — его срочно вытребовали в штаб полка. Уходя, попросил Христоню и Ивана Алексеевича:

— Как кончится, — идите домой ко мне. Любопытно — кто пройдет в члены.

Иван Алексеевич вернулся ночью.

— Подтелков — председателем, Кривошлыков — секретарем! — с порога заявил он.

— Члены?

— Там и Лагутин Иван и Головачев, Минаев, Кудинов, ишо какие-то.

— А Христан где же? — спросил Григорий.

— Он с казаками направился каменные власти арестовать. Распался казак, плюнь на него — зашипит. Беда!

Христоня вернулся на рассвете. Долго сопел, разуваясь, бурчал что-то вполголоса. Григорий зажег лампу, — увидел на побуревшем лице его кровь и огнестрельную царапину выше лба.

— Кто это тебя?.. Перевязать? Я зараз... погоди вот бинт найду, — вскочил с кровати, разыскал марлю и бинт.

— Загбится, как на собаке, — урчал Христоня. — Это меня, стал-быть, воинский начальник скобленул с нагана. Пришли к нему, как гости, с параднево, а он зачал обороняться. Ишо одного казака ранил. Хотел душу с него, стал-быть, вынуть: поглядеть, какая она из себя офицерская душа, — казаки не свелели, а то бы я его пошшупал... Уж пошшупал бы до болятки!

IX

На другой день в Каменскую прибыл, по приказу Каледина, 10-й донской казачий полк, с целью ареста всех участников с'езда и обезоружения наиболее революционных казачьих частей.

На станции в это время был митинг. Огромнейшая толпа казаков бурлила, по-разному реагируя на речь какого-то оратора-латыша.

Полк, выгрузившись, примкнул к митингу. Отборно рослые, выложенные гундоровцы, наполовину составлявшие кадры полка, смешались с казаками других полков. В настроении их сейчас же произошел резкий перелом. На приказ командира полка о выполнении распоряжения Каледина казаки ответили отказом. Среди них началось брожение, как следствие усиленной агитации, которую развернули сторонники большевиков.

А в это время Каменская трепалась прифронтовой лихорадкой: наскоро сбитые отряды казаков высылались на занятие и закрепление занятых станций, часто отходили эшелоны, отправлявшиеся по направлению Звереву — Лихой. В частях шли пере выборы командного состава. Под-сурдинку уезжали из Каменской казаки, не желавшие войны. С запозданием являлись делегаты от хуторов и станиц. По улицам замечалось небывало оживленное движение.

13 января в Каменскую прибыла, с целью переговоров, делегация от Донского правительства, в составе председателя Войскового круга Агеева, членов Круга: Светозарова, Уланова, Карева, Бажелова и войскового есаула Кушнарева.

У вокзала встретила их густая толпа народа. Охрана из казаков лейб-гвардии Атаманского полка проводила прибывших до здания почтово-телеграфной конторы, где всю ночь происходило заседание членов Военно-революционного комитета, совместно с прибывшей делегацией правительства.

От Военно-революционного комитета присутствовало семнадцать человек. Подтелков первый, отвечая на речь Агеева, обвинявшего Военно-революционный комитет в измене Дону и соглашении с большевиками, дал ему резкую отповедь. После него выступали Кривошлыков, Лагутин. Речь войскового есаула Кушнарева неоднократно прерывалась криками сгрудившихся в коридоре казаков. Один из пулеметчиков э т имени революционных казаков требовал ареста делегации.

Совещание не привело ни к каким результатам. Уже около двух часов ночи, когда стало ясно, что соглашение не может быть достигнуто, было принято предложение члена Войскового круга Карева о приезде в Новочеркасск делегации от Военно-революционного комитета для окончательного вырешения вопросов о власти.

Следом за уехавшей делегацией Донского правительства в Новочеркасск отправились и представители Военно-революционного комитета, во главе с Подтелковым. По общему выбору, были делегированы: Подтелков, Кудинов, Кривошлыков, Лагутин, Скачков, Головачев и Минаев. Заложниками остались арестованные в Каменской офицеры Атаманского полка.

X

За окном вагона рябила метель. Над полуразрушенным частоколом щитов виднелись прилизанные ветром, затвердевшие сугробы. Изломистые крыши их были причудливо исчерчены следами птичьих ног.

На север уходили полустанки, телеграфные столбы и вся бескрайняя, жуткая в снежном своем однообразии степь.

Подтелков, в новой кожаной тужурке, сидел у окна. Против него, облокотясь на столик, смотрел в окно узкоплечий, сухой, как подросток, Кривошлыков. В детски ясных глазах его дневали тревога и ожидание. Лагутин расческой гладил небогатую, русую бороденку. Здоровый казачина Минаев грел над трубой парового отопления руки, ерзал по лавке.

Головачев со Скачевым о чем-то тихо беседовали, лежа на верхних полках.

В вагоне было в меру накурено, прохладно. Члены делегации чувствовали себя, отправляясь в Новочеркасск, не совсем уверенно. Разговоры не вязались. Нудная кисла тишина. Проехали Лихую. Подтелков высказал общую мысль:

— Не будет дела. Не столкнемся.

— Зряшная поездка, — поддержал его Лагутин.

Снова долго молчали. Подтелков размеренно шевелил кистью руки, словно челнок пропускал сквозь сетные ячейки. Изредка он поглядывал на неяркий отлив своей кожаной тужурки, любуясь ею.

Близился Новочеркасск. Поглядев на Дон, разбежисто уходивший от города, Минаев стал тихо рассказывать:

— Бывало, отслужут казаки в Атаманском полку сроки, — снаряжают их к отправке по домам. Грузят сундуки, именье свое, коней. Эшелон идет, и вот под Воронежом, где первый раз приходится переезжать через Дон, машинист, какой ведет поезд, дает тихий ход, — самый што ни есть тихий... он уж знает, в чем дело. Только што поезд выберется на мост, — батюшки мои!.. што тут начинается! Казаки прямо бесуются: «Дон! Дон наш! Тихий Дон! Отец родимый, кормилец! Ур-р-ра-а-а!» и в окны кидают, с моста прямо в воду, через железный переплет, фуражки, шинеля старые, шаровары, наволоки, рубахи, разную мелочь. Дарят Дону, возвращаясь со службы. Бывалоча, глянешь, — а по воде голубые атаманские фуражки, как лебеда али цветки, плывут... Издавна такой обычай повелся...

Замедляя ход, поезд остановился. Казаки повстали. Кривошлыков, застегивая ремень на шинели, криво улыбнулся:

— Ну, вот и приехали восвоясы!

— Што-то не несут хлѣб-соль! — попробовал пошутить Скачков.

В дверь без стука вошел высокий, бравый есаул. Он оглядел членов делегации шупающими, враждебными глазами, с нарочитой грубоватостью сказал:

— Мне поручено сопровождать вас. Потрудитесь-ка, господа большевики, поскорее покинуть вагон. Я не ручаюсь за толпу и... за вашу сохранность.

Он дольше, чем на всех, задержал глаза на Подтелкове, вернее — на его офицерской тужурке; уже с неприкрытой враждою скомандовал:

— Выходите из вагона, живо!

— Вот они, мерзавцы, предатели казачества! — крикнул с облитого толпой перрона какой-то длинноусый офицер.

Подтелков побледнел, глянул на Кривошлыкова чуть растерянным, косящим взглядом. Тот сходил следом за Подтелковым, улыбаясь, шепнул:

— «Мы слышим звуки одобренья не в сладком рокоте хвалы, а в диких криках озлобленья...» Слышишь, Федор?

И Подтелков, хотя и не расслышал последних слов, все же улыбнулся.

Их сопровождал сильный офицерский наряд. До самого областного правления бесновалась провожавшая их, жаждавшая самосудной расправы толпа. Бесчинствовали, оскорбляя делегатов, не только офицеры и юнкера, но и какие-то казаки, и прилично одетые женщины, и учащиеся.

— Какое вы допускаете безобразие! — обратился к одному из сопровождавших их офицеров возмущенный Лагутин.

Тот смерил его ненавистным взглядом, прошипел:

— Благодаря бога, что живой останешься... Моя бы власть — я бы тебе... такую твою мать, хамлюга... у-у-у, падаль!

Его остановил упрекающим взглядом другой, помоложе.

— Ну, и переплет! — улучил момент шепнуть Головачеву Скачков.

— Будто на смертную казнь ведут...

Зал областного правления не вмещал собравшегося народа. Пока прибывшие делегаты рассаживались по одну сторону стола, следуя указаниям какого-то распорядительного сотника, подошли члены правительства.

Твердым, во всю ступню, вольным шагом прошел чуть сутулый Каледин, сопровождаемый Богаевским. Он отодвинул свой стул, уселся, спокойным движением положил на стол защитную фуражку, белевшую офицерской кокардой, пригладил волосы и, застегивая пальцами левой руки пуговицу на боковом большом кармане френча, немного перегнулся в сторону Богаевского, что-то говорившего ему. Каждое дви-

жение его было налито твердой медлительной уверенностью, зрелой силой; обычно так держат себя люди, подержавшиеся за власть, выработавшие на протяжении ряда лет особую, отличную от других осанку, манеру носить голову, походку. У него с Подтелковым было много тождественного. Зато Богаевский, проигрывавший в соседстве с представителем Калединым, казался и невзрачней его и взволнованней предстоящими переговорами.

Он что-то говорил, невнятно шевеля губами, закрытыми русым карнизом висячих усов, поблескивал из-под пенсне острыми, косо поставленными глазами. Нервозность сказывалась в том, как он поправлял воротничок, скользящими, поверхностными движениями касался круто выгнутых салазок энергического подбородка, шевелил бровями, раскрылившимися на широких надглазницах.

От Каледина, сидевшего в центре, по обе стороны рассаживались члены войскового правительства. Некоторые из них приезжали в Каменскую: Карев, Светозаров, Уланов, Агаев; немного поодаль сели Елатонцев, Мельников, Боссе, Шошников, Поляков.

Подтелков слышал, как Митрофан Богаевский, вполголоса что-то сказал Каледину. Тот коротко прищурился на Подтелкова, занимавшего место против него, сказал:

— Я думаю, можно начать.

Улыбнувшись, Подтелков внятно сообщил о целях приезда делегации. Кривошлыков протянул через стол заготовленный ультиматум Военно-революционного комитета; но Каледин, отстраняя его движением белой ладони, твердо сказал:

— Нет смысла терять время на ознакомление каждого члена правительства в отдельности с этим документом. Потрудитесь прочитать вслух ваш ультиматум. После будем обсуждать.

— Читай, — приказал Подтелков.

Держался он с достоинством, но, видимо, как и все члены делегации, чувствовал себя не совсем уверенно. Кривошлыков встал. Девичье-звонкий и в то же время неяркий голос его поплыл над забитым людьми залом:

«Вся власть в области Войска Донского над войсковыми частями в ведении военных операций от сего 10 января 1918 года переходит от войскового атамана Донскому казачьему военно-революционному комитету.

Все партизанские отряды, которые действуют против революционных войск, отзываются 15 января сего года и разоряются, равно как и добровольческие дружины, юнкерские учи-

лица и школы прапорщиков. Все участники этих организаций, не жившие на Дону, высылаются из пределов Донской области в места их жительства.

Примечание. Оружие, снаряжение и обмундирование должно быть сдано комиссару Военно-революционного комитета. Пропуск на выезд из Новочеркаска выдается комиссаром Военно-революционного комитета.

Город Новочеркасск должны занять казачьи полки по назначению Военно-революционного комитета.

Члены Войскового круга объявляются неправомочными с 15 сего января.

Вся полиция, поставленная войсковым правительством, из рудников и заводов Донской области отзывается.

Объявляется по всей Донской области, станицам и хуторам о добровольном сложении войсковым правительством своих полномочий, во избежание кровопролития, и о немедленной передаче власти областному казачьему военно-революционному комитету, впредь до образования в области постоянной трудовой власти всего населения».

Едва умолк голос Кривошлыкова, Каледин громко спросил:

— Какие части вас уполномочили?

Подтелков переглянулся с Кривошлыковым, начал словно про себя считать:

— Лейб-гвардии Атаманский полк, лейб-гвардии Казачий, 6-я батарея, 44-й полк, 32-я батарея, 14-я отдельная сотня... — перечисляя, он придавливал пальцы на левой руке; в зале зашушукались, прополз ехидный смешок, и Подтелков, нахмурясь, положил на стол рыжеволосые ладони, повысил голос: — 28-й полк, 28-я батарея, 12-я батарея, 12-й полк...

— 29-й полк, — тихо подсказал Лагутин.

— ...29-й полк, — продолжал Подтелков уже уверенней и громче: — 13-я батарея, казенная местная команда, 10-й полк, 27-й полк, 2-й пеший батальон, 2-й запасный полк, 8-й полк, 14-й полк.

После малозначащих вопросов и краткого обмена мнениями, Каледин спросил, грудью наваливаясь на край стола, упирая взгляд в Подтелкова:

— Признаете ли вы власть Совета Народных Комиссаров?

Допив стакан воды, Подтелков поставил на тарелку графин, вытер рукавом усы, ответил уклончиво:

— Это может сказать лишь весь народ.

Вступился Кривошлыков, опасаясь, как бы простоватый Подтелков не сболтнул лишнего:

— Казаки не потерпят такого органа, в который входят представители партии народной свободы. Мы — казаки, — и управление у нас должно быть наше, казачье.

— Как понимать вас, когда во главе Совета стоят Бронштейн, Нахамкес и им подобные?

— Им доверила Россия, — доверяем и мы!

— Будете ли иметь с ними сношения?

— Да!

Подтелков одобрительно хмыкнул, поддержал:

— Мы не считаемся с лицами, — считаемся с идеей.

Один из членов войскового правительства простодушно спросил:

— На пользу ли народа работает Совет Народных Комиссаров?

В его сторону пополз щупающий взгляд Подтелкова. Улыбнувшись, он промолчал, потянулся к графину, налил и жадно выпил. Одолевала его жажда, — будто большой огонь внутри заливал он прозрачной, покрывшей пузырьками стенки графина водой.

Каледин мелко барабанил пальцами, пытливо расспрашивал:

— Что общего у вас с большевиками?

— Мы хотим ввести у себя в Донской области казачье самоуправление.

— Да, но вам, вероятно, известно, что на 4 февраля созывается Войсковой круг. Члены будут переизбраны. Согласны ли вы на взаимный контроль?

— Нет! — Подтелков поднял уроненный взгляд, твердо ответил: — Ежли вас будет меньшинство, — мы вам диктуем свою волю.

— Но ведь это насилие!

— Да.

Митрофан Богаевский, переводя взгляд с Подтелкова на Кривошлыкова, спросил:

— Признаете ли вы Войсковой круг?

— Постольку-поскольку... — пожал широченными плечами Подтелков. — Областной военно-революционный комитет созывает с'езд представителей от этого... от населения. Он будет работать под контролем всех воинских частей. Ежли с'езд нас не удовлетворит, — мы ево не признаем.

— Кто же будет судьей? — поднял Каледин брови.

— Народ! — Подтелков гордо откинул голову, скрипя кожей тужурки, привалился к спинке резного стула.

После короткого перерыва заговорил Каледин. В зале утих шум, в установившейся тишине четко зазвучал низкий, осенне-тусклый тембр атаманского голоса:

— Правительство не может сложить своих полномочий по требованию Областного военно-революционного комитета. Настоящее правительство было избрано всем населением Дона, и только оно, а не отдельные части, может требовать от нас сложения полномочий. Под воздействием преступной агитации большевиков, стремящихся навязать области свои порядки, вы требуете передачи вам власти. Вы — слепое орудие в руках большевиков. Вы исполняете волю немецких наемников, не осознав той колоссальной ответственности, которую берете на себя перед всем казачеством. Советую одуматься, ибо неслыханные бедствия несете вы родному краю, вступив на путь распри с правительством, отражающим волю всего населения. Я не держусь за власть. Соберите Большой войсковой круг — и он будет вершить судьбами края, но до его созыва я должен остаться на своем посту. В последний раз советую одуматься.

После него говорили члены правительства казачьей и иногородной части. Длинную речь, перевитую слащавыми увещаниями, опрокинул на головы членов Ревкома эсер Боссе.

Выкриком перебил его Лагутин:

— Наше требование — передайте власть Военно-революционному комитету! Ждать нечево, ежели войсковое правительство стоит за мирное разрешение вопроса...

Богаевский улыбнулся:

— Значит?..

— ...Надо об'явить во всеобщее сведение об этом, што власть перешла к Ревкому. Ждать две с половиной недели, покедова соберется ваш Круг, нельзя! Народ и так ужасно наполнился гневом.

Долго мямлил Карев и искал неосуществимого компромисса Светозаров.

Подтелков слушал их с раздражением. Он бегло оглядел лица своих, заметил, что Лагутин хмурится и бледнеет, Кривошлыков глаз не поднимает от стола, Головачев нетерпеливо порывается что-то сказать. Выждав время, Кривошлыков тихо шепнул:

— Скажи!

Подтелков словно ждал этого. Отодвинув стул, он заговорил натужно, заикаясь от волнения, ища какие-то большие, сокрушающие слова убеждения.

— Не так вы говорите! Ежли б войсковому правительству верили, — я с удовольствием отказался бы от своих требований... но ведь народ не верит! Не мы, а вы зачинаете гражданскую войну! Зачем вы приютили на казачьей земле разных беглых генералов? Через это большевики и идут войной на наш тихий Дон. Не покорюсь я вам! Не

позволю! Пушай через мой труп пройдут! Мы вас фактами закидаем! Не верю я, штоб войсковое правительство спасло Дон! Какие меры применяются к тем частям, какие не желают вам подчиняться?.. Ага, то-го и оно! Зачем напускаете на шахтеров ваших партизанов? Этим зло вокруг заводите! Скажите мне: кто порукой за то, што войсковое правительство отсторонит гражданскую войну?.. Нечем вам крыть. А народ и фронтовые казаки за нас стоят!

В зале ветровым шелестом пополз смех; раздались по адресу Подтелкова негодующие голоса. Он повернул в ту сторону разгоряченно-багровое лицо, выкрикнул, уже не тая горжлой злобы:

— Смеетесь зараз, а посля плакать будете! — и повернулся к Каледину, брызнул в него картечинами-глазами: — Мы требуем передать власть нам, представителям трудового народа, и удаления всех буржуев и Добровольческой армии! А настоящее правительство тоже должно уйти!

Каледин устало нагнул голову.

— Я из Новочеркасска никуда не собираюсь уходить и не уйду.

После небольшого перерыва заседание возобновилось горячей речью Мельникова.

— Красногвардейские отряды рвутся на Дон, чтобы уничтожить казачество! Они загубили Россию своими безумными порядками и хотят загубить и нашу область! История не знает таких примеров, чтобы страной управляла разумно и на пользу народа кучка самозванцев и проходимцев. Россия очнется — и выкинет этих Отрепьевых! А вы, ослепленные чужим безумием, хотите вырвать из наших рук власть, чтобы открыть большевикам ворота! Нет!

— Передайте власть Ревкому — и большевики прекратят наступление... — вставил Подтелков.

С разрешения Каледина, из публики выступил под'есаул Шейн, георгиевский кавалер всех четырех степеней, из рядовых казаков дослужившийся до чина под'есаула. Он оправил складки гимнастерки, будто перед смотром, сразу взял в намет:

— Чево там, станичники, слухать их! — кричал он высоким командным голосом, рубя рукой, как палашом. — Нам с большевиками не по пути! Только изменники Дону и казачеству могут говорить с сдаче власти Советам и звать казаков итти с большевиками! — И, уже прямо указывая на Подтелкова, обращаясь непосредственно к нему, он изгинался, кричал: — Неужели вы думаете, Подтелков, что за вами. за недоучкой и безграмотным казаком, пойдет Дон? Если пойдут, — так кучка оголтелых казаков, какие от дома отбились! Но они, брат, очнутя — и тебя же повесют!

В зале задвигались головы, как шляпки подсолнухов, расталкиваемые ветром; набряк стон одобряющих голосов. Шеин сел. Его прочувствованно хлопал сзади по плечу какой-то высокий, в сборном полубашубке офицер, с погонами войскового старшины. Возле столпились офицеры. Истерический женский голос растроганно чечекал:

— Спсибо, Шеин! Спасибо!

— Браво, есаул Шеин! Брависсимо — гимназическим петушиным баском кукарекал кто-то из завсегдатаев галерки, сразу даря под'есаула Шеина лишним чином.

Краснобаи и прочие баяны Донского правительства еще долго улещивали казаков—членов народившегося в Каменской ревкома. В зале было накурено, сизо, душно. За окнами вершило дневной поход солнце. Морозные ельчатые веточки липли к наружным стеклам окон. Сидевшие на подоконниках слышали вечерний благовест и сквозь вой ветра—паровозные осиплые гудки.

Лагутин не выдержал, прерывая одного из войсковых ораторов, обратился к Каледину:

— Решайте дело, пора кончать!

Его вполголоса осадил Богаевский:

— Не волнуйтесь, Лагутин! Вот вода. Семейным и предрасположенным к параличу вредно волноваться. А потом вообще не рекомендуется прерывать ораторов, — здесь ведь не какой-нибудь совдеп!

Какой-то колкостью ответил ему и Лагутин, но внимание всех вновь прихлынуло к Каледину. Так же уверенно вел он политическую игру, как и вначале, и так же натякался на простую, зипунную броню подтелковских ответов.

— Вы говорили, что если мы передадим вам власть, то большевики прекратят свое наступление на Дон. Но так думаете вы. Но как поступят большевики, пришедшие на Дон, — нам неизвестно.

— Комитет уверен, што большевики подтвердят сказанное мною. Спробуйте: передайте нам власть, выживите с Дона добровольцев, рассчитайте своих партизанов — и вот увидите: кончат большевики войну!

Спустя немного Каледин привстал. Ответ его был заготовлен заранее: Чернецов уже получил приказание сосредоточить отряд для наступления на станацию Лихую. Но, выигрывая время, Каледин закончил совещание ходом на оттяжку:

— Донское правительство обсудит предложения Ревкома и в письменной форме даст ответ к десяти часам утра назавтра.

XI

Ответ Донского правительства, врученный утром на следующий день делегации Ревкома, гласил следующее:

«Войсковое правительство Войска Донского, обсудив требования Военно-революционного казачьего комитета, представленные делегацией комитета от имени Атаманского, Лейб-казачьего, 44, 23, 29-го, частей 10, 27, 23, 8, 2-го запасного и 43-го полков, 14-й отдельной сотни, 6-й гвардейской, 32, 28, 12 и 13-й батарей, 2-го пешего батальона и каменской местной команды — объявляет, что правительство является представителем всего казачьего населения области. Избранное населением правительство не имеет права сложить своих полномочий до созыва нового Войскового круга.

Войсковое правительство Войска Донского признало необходимым распустить прежний состав Круга и произвести пере-выборы депутатов как от станиц, так и от войсковых частей. Круг в своем новом составе, свободно избранный (при полной свободе агитации) всем казачьим населением, на основе прямого, равного и тайного голосования, соберется в городе Новочеркасске 4 февраля ст. ст. сего года, одновременно со съездом всего казачьего населения. Только Круг, законный орган, восстановленный революцией, представляющий казачье население области, имеет право сместить войсковое правительство и избрать новое. Этот Круг, вместе с тем, обсудит вопрос и об управлении войсковыми частями и о том, быть или не быть партизанским отрядам и добровольческим дружинам, защищающим власть. Что касается формирования и деятельности Добровольческой армии, то об'единенное правительство уже раньше приняло решение взять их под контроль правительства при участии Областного военного комитета.

По вопросу об отзывании из горнозаводского района, якобы поставленной войсковым правительством, полиции правительство заявляет, что вопрос о милиции будет поставлен на разрешение Круга 4 февраля.

Правительство заявляет, что в устройстве местной жизни может принимать участие лишь местное население, а потому оно считает, выполняя волю Круга, необходимым всеми мерами бороться против проникновения в область вооруженных большевистских отрядов, стремящихся навязать области свои порядки. Жизнь свою должно устроить само население— и только оно одно.

Правительство не желает гражданской войны, оно всеми мерами стремится покончить дело мирным путем, для чего предлагает Военно-революционному комитету принять участие в депутации к большевистским отрядам.

Правительство полагает, что если посторонние области отряды не будут итти в пределы области, — гражданской войны и не будет, так как правительство только защищать Донской край, никаких наступательных действий не предпринимает, остальной России своей воли не навязывает, а потому и не желает, чтобы и Дону кто-нибудь посторонний навязывал свою волю.

Правительство обеспечивает полную свободу выборов в станицах и войсковых частях, и каждый гражданин сможет развить свою агитацию и отстаивать свою точку зрения на назначенных выборах в Войсковой круг.

Для обследования нужд казаков во всех дивизиях должны быть теперь же назначены комиссии из представителей частей.

Войсковое правительство Войска Донского предлагает всем частям, пославшим своих депутатов в Военно-революционный комитет, возвратиться к своей нормальной работе по защите Донского Края.

Войсковое правительство не допускает и мысли, чтобы свои донские части выступили против правительства и тем начали междоусобную войну на Тихом Дону.

Военно-революционный комитет должен быть распушен избравшими его частями, и все части, взамен этого, должны послать своих представителей в существующий областной военный комитет, объединяющий все войсковые части области.

Войсковое правительство требует, чтобы все арестованные Военно-революционным комитетом были немедленно освобождены, а администрация, с целью восстановления нормальной жизни в области, должна быть возвращена к исполнению своих обязанностей.

Являясь представителем только незначительного числа казачьих частей, Военно-революционный комитет не имеет права предъявлять требования от имени всех частей, а тем более — от имени всего казачества.

Войсковое правительство считает совершенно недопустимым сношения комитета с Советом Народных Комиссаров и пользование его денежной поддержкой, так как это означало бы распространение влияния Совета Народных Комиссаров на Донскую

область, а между тем казачий Круг и с'езд неказачьего населения всей области признали власть Советов неприемлемой; так же как и Украина, Сибирь, Кавказ и все без исключения казачьи войска.

Председатель Войскового Правительства товарищ Войскового Атамана М. Богаевский.

Старшины Войска Донского: Елатонцев, Поляков, Мельников».

В составе делегации, отправленной Донским правительством к Таганрогу для переговоров с большевиками, поехали и члены Каменского ревкома Лагутин и Скачков. Подтелков и остальные были задержаны на-время в Новочеркасске, а тем часом отряд полковника Чернецова в несколько сот штыков, при тяжелой батарее на площадках и двух легких орудиях, отчаянным набегом занял станции Звереве — Лихую и, оставив там заслон от одной роты при двух орудиях, основными силами повел наступление на Каменскую. Сломив сопротивление революционных казачьих частей под полустанком Северный Донец, Чернецов 17 января занял Каменскую. Но уже через несколько часов было получено известие, что красногвардейские отряды Саблина выбили из Зверева, а затем и из Лихой оставшийся там заслон чернецовцев. Чернецов устремился туда. Коротким лобовым ударом он опрокинул 3-й Московский отряд, изрядно потрепал в бою Харьковский отряд и отбросил панически отступавших красногвардейцев в исходное положение.

После того как положение в направлении Лихой было восстановлено, Чернецов, перехвативший инициативу, вернулся в Каменскую. Из Новочеркасска к нему 19 января подошло подкрепление. На следующий день Чернецов решил наступать на Глубокую.

На военном совете решено было, по предложению сотника Линькова, взять Глубокую, предприняв обходное движение. Чернецов опасался наступать по линии железной дороги, так как боялся встретить в этом направлении настойчивое сопротивление частей Каменского ревкома и подошедших с Черткова к ним красногвардейских отрядов.

Ночью началось глубокое обходное движение. Колонну вел сам Чернецов.

Уже перед рассветом подошли к Глубокой. Четко сделали перестроения, рассыпались в цепь. Отдавая последние распоряжения, Чернецов слез с коня и, разминая затекшие ноги, сипло приказал командиру одной из рот:

— Без церемоний, есаул. Вы меня поняли?

Он поскрипел сапогами по твердому насту снега, сдвинул на бок седую каракулевую папаху, растирая перчаткой розовое ухо. Под

светлыми отчаянными глазами его синели круги от бессонницы. Губы зябко морщились. На коротко подстриженных усах теплился пушок инея.

Согревшись, он вскочил на коня, оправил складки защитного офицерского полушубка и, снимая с луки поводья, тронул лысого, рыжеватого донца, уверенно и твердо улыбнулся:

— Начнем!

XII

Перед с'ездом фронтового казачества в Каменской бежал из полка под'есаул Изварин. Накануне он был у Григория, говорил, отдаленно намекая на свой уход:

— В создавшейся обстановке трудно служить в полку. Казаки мечутся между двумя крайностями — большевики и прежний, монархический строй. Правительство Каледина никто не хочет поддерживать, отчасти даже потому, что он носится со своим паритетом, как дурак с писаной торбой. А нам необходим твердый, волевой человек, который сумел бы поставить иногородних на надлежащее им место... Но я считаю, что лучше в настоящий момент поддержать Каледина, чтобы не проиграть окончательно. — Помолчав, закуривая, спросил:— Ты... кажется, принял красную веру?

— Почти, — согласился Григорий.

— Искренне или, как Голубов, делаешь ставку на популярность среди казаков?

— Мне популярность не нужна. Сам ищу выхода.

— Ты уперся в стену, а не выход нашел.

— Поглядим...

— Боюсь, что встретимся мы, Григорий, врагами.

— На бранном поле друзей не угадывают, Ефим Иваныч, — улыбнулся Григорий.

Изварин посидел немного и ушел, а наутро исчез, — как в воду канул.

В день с'езда пришел к Григорию казак-атаманец с хутора Лебязьего Вешенской станицы. Григорий чистил и смазывал ружейным маслом наган. Атаманец посидел немного и уже перед уходом сказал будто между делом, в то время как пришел исключительно из-за этого. Он знал, что у Григория отбил бабу Листницкий, бывший офицер Атаманского полка, и, случайно увидев его на вокзале, зашел предупредить.

— Григорь Пантелевич, а я ить нынче видал на станции твоего друзьяка.

- Какова?
- Листницкого. Знаешь его?
- Когда видал? — с живостью спросил Григорий.
- С час назад.

Григорий сел. Давняя обида взяла сердце володавией хваткой. Он не ощущал с былой силой злобы к врагу, но и знал, что если встретится с ним теперь, в условиях начавшейся гражданской войны, — быть между ними крови. Нежданно услышав про Листницкого, — понял, что не заросла давностью старая ранка: тронь неосторожным словом, — закровоточит. За давнее сладко отомстил бы Григорий — за то, что по вине проклятого человека выцвела жизнь, и осталась на месте прежней полнокровной большой радости сосущая голодная тоска, линялая выцветень.

Помолчал немного, чувствуя, как сходит с лица негустая краска, спросил:

- Сюда приехал — не знаешь?
- Наверяд. Должно, в Черкасск правится.
- А-а-а...

Атаманец поговорил о с'езде, о полковых новостях и ушел. Все последующие дни Григорий, как ни старался загасить тлевшую в душе боль, — не мог. Ходил, как одурманенный, уже чаще, чем обычно, вспоминал Аксинью, и горечь плавилась во рту, каменело сердце. Думал о Наталье, детишках, но радость от этого приходила зазубренная временем, изжитая давностью. Сердце же жило у Аксиньи, к ней потянуло попрежнему тяжело и властно.

Из Каменской, когда надавил Чернецов, пришлось отступать спешно. Разрозненные отряды Донревкома, наполовину распыленные казачьи сотни, беспорядочно грузились на поезда, уходили походным порядком, бросая все несподручное, тяжелое. Ощутимо сказывалось отсутствие организованности, твердого человека, который собрал бы и распределил все эти в сущности значительные силы.

Из числа выборных командиров выделялся вынырнувший откуда-то за последние дни войсковой старшина Голубов. Он принял командование наиболее боевым 27-м казачьим полком и сразу, с жестоковатинкой, поставил дело. Казаки подчинялись ему беспрекословно, видя в нем то, чего нехватало полку: умения сколотить состав, распределить обязанности, вести. Это он, Голубов, толстый, пухлощекий, наглоглазый офицер, размахивая шашкой, кричал на станции на казаков, медливших с погрузкой:

— Вы что? В постукалочку играете... распротак вашу мать?!. Гру-зи!.. Именем революции приказываю немедленно подчиниться!..

Что-о-о?.. Кто это демагог? Застрелю, подлец!.. Молчать!.. Саботажникам и скрытым контр-революционерам я не товарищ!

И казаки подчинялись. По старинке многим даже нравилось это, — не успели отвыкнуть от старого. А в прежние времена, что ни дер — то лучший в глазах казаков командир. Про таких, как Голубов, говорили: «Этот по вине шкуру спустит, а по милости другую нашьет».

Части Донревкома отхлынули и наводнили Глубокую. Командование всеми силами по существу перешло к Голубову. Он в течение неполных двух дней скомпоновал раздерганные части, принял надлежащие меры к закреплению за собой Глубокой. Мелехов Григорий командовал, по настоянию его, дивизионом из двух сотен 2-го запасного полка и одной сотни атаманцев.

В сумерках 20 января он вышел из своей квартиры, с целью проверить выставленные за линией заставы атаманцев, и у самых ворот столкнулся с Подтелковым. Тот угадал его.

— Ты, Мелехов?

— Я.

— Куда это ты?

— Заставы поглядеть. Давно из Черкаска? Ну как?

Подтелков нахмурился.

— С заклятыми врагами народа не столкуешься миром. Видал — какой номер отчебучили? Переговоры... а сами Чернецова наузыкали. Каледин — какая гада?! Ну, мне особо некогда, — я это в штаб поспешаю.

Он наскоро попрощался с Григорием, крупно зашагал к центру.

Еще до избрания его председателем Ревкома он заметно переменялся в отношении к Григорию и остальным знакомым казакам, в голосе его уже тянули сквозняком нотки превосходства и некоторого высокомерия. Хмелем била власть в голову простого от природы казака.

Григорий поднял воротник шинели, пошел, убыстряя шаг. Ночь обещала быть морозной. Ветерок тянул с киргизской стороны. Небо ясно. Заметно подмораживало. Сыпко хрустел снег. Месяц встал тихо и кособоко, как инвалид по лестнице. За домами сумеречной лиловой синью курилась степь. Был тот предночной час, когда стираются очертания, линии, краски, расстояние; когда еще дневной свет путается, неразрывно сцепившись, с ночным, и все кажется нереальным, сказочным, зыбким; и даже запахи в этот час, утрачивая резкость, имеют свои особые, затушеванные оттенки.

Проверив заставы, Григорий вернулся на квартиру. Хозяин, железнодорожный служащий, щербатый и жулик на лицо, поставил самовар, присел к столу.

— Наступать будете?

— Неизвестно.

— Или их думаете дожидаться?

— Видно будет.

— Совершенно правильно. Наступать-то вам, думается, не с чем, — тогда, конечно, лучше ждать. Обороняться выгоднее. Я сам германскую войну в саперах отломал, в тактической стратегии знал и вкус и толк... Силёнок-то маловато?

— Хватит, — уклонился Григорий от тяготившего его разговора.

Но хозяин назойливо допытывался, вертелся около стола, почесывая под суконной жилеткой тощий, как у тарани, живот:

— Артиллерии-то много? Пушечек, пушечек?

— Служил, а службы не знаешь! — с холодным бешенством сказал Григорий и так ворохнул глазами, что хозяина, будто обмороком, кинуло в сторону: — Служил, а не знаешь!.. Какое ты имеешь право расспрашивать меня о численности наших войск и о наших планах? Вот отведу тебя на допрос.

— Господ... офицер! Голу... голуб!.. — целиком глотая концы слов, давился побелевший хозяин, чернел щербатинами и полузатворенном рту: — По глу... по глупости! Простите!..

За чаем Григорий как-то случайно поднял на него глаза, заметил, как резко, будто при молнии, моргнули они, а когда приобнажили их ресницы, — выражение было иное, ласковое и почти обожающее. Семья хозяина — жена и две взрослых дочери — переговаривались шопотом. Григорий не допил вторую чашку, ушел в свою комнату.

Вскоре пришли откуда-то шесть казаков четвертой сотни 2-го запасного, стоявшего на квартире вместе с Григорием. Они шумно пили чай, переговаривались, смеялись. Григорий, уже засыпая, слышал обрывки их разговора. Один рассказывал (Григорий угадал по голосу взводного Бахмачева, казака Луганской станицы), остальные изредка вставляли замечания.

— При мне дело было. Приходят трое шахтеров Горловского района, с рудника номер одиннадцать, говорят: мол, так и так, такая у нас собралась гарнизация, и есть нуждишка в оружии — сделайте чем можете. А Подтелков... Да ить я сам слышал! — повысил он голос, отвечая на чью-то невнятную реплику: — говорит: «Обращайтесь, товарищи, к Саблину, а у нас ничево нету». Как это ничево нету? А я знаю, что лишние винтовки были. Тут не в том дело... Ревность проявилась, што ввязываются мужики.

— И правильно! — заговорил другой. — Дай им справку, а они — ни то будут воевать, ни то нет. А коснись дело земли, — руки протянут.

— Знаем мы эту шерсть! — басил третий.

Бахмачев раздумчиво позвенел чайной ложкой о стакан, стукая ею в такт своим словам, раздельно сказал:

— Нет, не годится такое дело. Большевики для всего народа идут на уступки, а мы — хреновые большевики. Лишь бы Каледина спихнуть, а там прижмем...

— Да ить милый человек! — убеждающе восклицал чей-то ломкий, почти мальчишеский альт: — Пойми, што нам давать не из чево! Удобной земли на пай падает полторы десятины, а энта — суглинок, балки, толока. Чево давать-то?

→ С тебя и не берут, а есть такие, што богаты землей.

— А войсковая земля?

— Покорнейше благодарим! Свою отдай, а у дяди выпрашивай?.. Ишь, ты, рассудил!

— Войсковая самим понадобится.

— Што и гутарить.

— Жадность заела!

— Какая там жадность?!

— Может, припадет своих казаков верховских переселить. Знаем мы иховы земли — желтопески одни.

— То-то и оно!

— Не нам кроить, не нам и шить.

— Тут без водки не разберешься.

— Эх, ребята! Надьсь громили тут винный склад. Один утоп в спирту, захленулся.

— А зараз бы выпил. Так, штоб по зебрам прошлась.

Григорий в полусне слышал, как казаки стелили на полу, зевали, чесались, тянули те же разговоры о земле, о переделах.

Перед рассветом под окном бацнул выстрел. Казаки повскакивали. Натягивая гимнастерку, Григорий не попадал в рукава. На бегу обулся, схватил шинель. За окном лузгой сыпались и горели выстрелы. Протарабанила подвода. Кто-то залиvisto и испуганно кричал возле дверей:

— В ружье!.. В ружье.. вашу мать!..

Чернецовские цепи, оттесняя заставы, входили в Глубокую. В серой хмарной темноте метались всадники. Бежали, дробно топоча сапогами, пехотинцы. На перекрестной улице устанавливали пулемет. Цепкой протянулись поперек человек тридцать казаков. Еще одно звено перебежало переулком. Клацали затворы, засылая патроны. В следующем квартале повышенно-звучный командный голос чеканил:

— Третья сотня, живо! Кто там ломает строй?.. Смирно! Пулеметчики — на правый фланг! Готово? Со-о-тня...

Прогромыхал батарейный взвод. Лошади шли галопом. Ездовые размахивали плетями. Лязг зарядных ящиков, гром колес, дребезжанье лафетов мешались с распухавшей на окраине стрельбой. Разом где-то поблизости ревнули пулеметы. На соседнем углу, зацепившись за врытый у палисадника стоян, опрокинулась скакавшая неведомо куда полевая кухня.

— Дьявол слепой!.. Не видишь?! Пovýлазило тебе? — надсадно ревел оттуда чей-то на-смерть перепуганный голос.

Григорий с трудом собрал сотню, рысью повел ее на край станицы. Оттуда уже густо валили отступавшие казаки.

— Куда?.. — Григорий схватил переднего за винтовку.

— Пу-у-усти!.. — рванулся казак. — Пусти, сволочь!.. Чево хватаешь? Не видишь — отступают?..

— Сила ево!..

— Прет дуром...

— Куда нам?... В какой край — Миллерская? — звучали запыхавшиеся голоса.

Григорий попробовал на окраине, возле какого-то длинного сарая, развернуть свою сотню в цепь, но новая толпа бежавших смела их. Казаки сотни Григория, перемешавшись с бежавшими, сыпанули назад — в улицы.

— Стой!.. Не бегай!.. Стреляю!.. — дрожь от бешенства, орал Григорий.

Его не слушались. Струя пулеметного огня секанула вдоль улицы; казаки на секунду кучками припали к земле, подползли поближе к стенам, устремились в поперечные улицы.

— Теперь не совладаешь, Мелехов! — крикнул, пробегая мимо него и близко заглядывая в глаза, взводный Бахмачев.

Григорий пошел следом, скрипя зубами, размахивая винтовкой.

Паника, охватившая части, завершилась беспорядочным бегством из Глубокой. Отступили, оставив чуть ли не всю материальную часть отряда. Лишь с рассветом удалось собрать сотни и кинуть их в контрнаступление.

Багровый, вспотевший Голубов, в распахнутом полушубке, перебегал над двинувшимися цепями своего 27-го полка, металлическим, накаленным голосом кричал:

— Шагу дай!.. Не ложись!.. Марш, марш!..

14-я батарея выехала на позицию, снималась с передков; старший офицер батареи, стоя на зарядном ящике, глядел в бинокль.

Бой начался в шестом часу. Смешанные цепи казаков и красногвардейцев из Воронежского отряда Петрова хлынули густо, окаймили снежный фон черной мережкой фигур.

С восхода тянул знобкий ветер. Под заголенной ветром тучей кровотокающий край казалась заря.

Григорий отвел половину атаманской сотни на прикрытие 14-й батареи, с остальными пошел в наступление.

Первый пристрельный снаряд лег далеко впереди цепи чернецовцев. Вздохмаченный оранжево-синий флаг разрыва выкинулся вверх. Сочно луснул второй выстрел. Пристрелку повели по-орудийно.

«Взи-взи-взи!..» — удаляясь, понесся снаряд.

Секунда напряженной тишины, подчеркнутой ружейными залпами, — и далекий звучный ох разрыва. После перелета снаряды очередями стали ложиться вблизи цепи. Жмурясь от ветра, Григорий с чувством удовлетворения подумал: «Нащупали!»

На правом фланге шли сотни 44-го полка. Голубов вел свой полк в центре. Григорий был влево от него. За ним, замыкая левый фланг, шли красновардейские отряды. К сотням Григория было придано три пулемета. Командир их, небольшой красновардеец, с сумрачным лицом и густоволосатыми широкими руками, искусно вел стрельбу, парализуя наступательные маневры противника. Он все время находился около пулемета, двигавшегося с цепью атаманцев. При нем была плотная, одетая в шинель женщина-красновардеец. Григорий, проходя над цепью, злобно подумал: «Юбошник! На позиции идет — и то с бабой не расстается. С такими навоюешь!.. Детей бы уж заодно забрал с периной и со всеми огарками!..» Начальник пулеметной команды подошел к Григорию, поправил на груди шнур нагана.

— Вы командуете этим отрядом?

— Да, я!

— Я поведу заградительный огонь на участке атаманской полусотни. Вы видите — нам не дают хода.

— Валайте, — согласился Григорий и повернулся на крик от замолкшего пулемета.

Бородатый, здоровый пулеметчик свирепо кричал:

— Бунчук!.. Расплавим машинку!.. Звероподобный дьявол, разве можно так?

Возле него на коленях стояла женщина в шинели. Черные глаза ее, горевшие под пуховым платком, напомнили Григорию Аксиною, и он секунду, затосковав глазами, смотрел на нее не моргая, удерживая дыхание.

В полдень к Григорию прискакал от Голубова ординарец с запиской. На неровно оторванном листке полевой книжки корячились размашистые буквы:

«Приказываю вам именем Донского ревкома с двумя вверенными вашему командованию сотнями сняться с позиций и спешным аллюром итти в обхват правого фланга противника, имея направление на участок, что виден отсюда, немного левее ветряка, по балке... Маскируйте движение (несколько неразборчивых слов)... Ударить с фланга, как только мы перейдем в решительный натиск.

Г о л у б о в ».

Григорий отвел и посадил на коней две сотни, отошел назад, стараясь, чтобы противник не обозначил его направления.

Двенадцать верст дали круга. Лошади шли, проваливаясь в глубоком снегу. Балка, по которой двигались в обход, была засыпана снегом. Местами доходил он лошадям до пояса. Григорий, прислушиваясь к вспышкам орудийного гула, тревожно посматривал на ручные часы, снятые с руки убитого в Румынии германского офицера, — боялся опоздать. Он сверялся по компасу с направлением — и все же уклонился немного больше, чем следовало, влево. По широкой отножине выбрались на чистое. Лошади дымились потным паром, мокрели в пахах. Скомандовав спешиться, Григорий первый выскочил на бугор. Кони остались в балке с коноводами. За Григорием полезли по пологому склону казаки. Он оглянулся, увидел за собой более сотни спешенных, редко рассыпавшихся по снежному склону балки бойцов, и почувствовал себя уверенней, сильнее. В бою всегда сильно владело им, как и каждым, табунное чувство. Взглядом охватив обстановку, Григорий понял, что опоздал, не учтя тяжелой дороги, по меньшей мере на полчаса.

Голубов смелым стратегическим ходом почти отрезал чернецовцам путь к отступлению, с боков выставил заслоны и фронтальным ударом шел на полузамкнутого противника. Грохали батарейные залпы. Рокотали винтовочные выстрелы, будто по железной сковороде катилась дробь; крыла шрапнель измятые цепи чернецовцев, густо ложились снаряды.

— В це-е-епь!..

Григорий со своими сотнями ударил с фланга. Пошли-было, как на учебную стрельбу, — не ложась, но какой-то ловкач-чернецовец, работавший на «максиме», так здорово полоснул по цепи, что казаки с большой охотой и послушно легли, трех потеряв из строя.

В третьем часу пополудни приласкалась к Григорию пуля. Раскаленный комочек свинца, одетый никелевой оболочкой, дырявя, прожег мясную ткань в ноге, выше колена. Григорий, ощутив горячий удар и знакомую тошную потерю крови, скрипнул зубами. Выполз из цепи, сгоряча вскочил, резко мотнул головой, контуженной пулей. Боль в ноге усугублялась тем, что пуля не вышла. Была она на излете, когда

щелкнула Григория, и, пробив шинель, шаровары и кожу, осталась остывать в пучке мускулов. Горячая плещущаяся резь мешала двигаться. Лежа, Григорий вспомнил наступление 12-го полка в Трансильванских горах, в Румынии, когда получил ранение в руку. В глазах его ярко восстановилась сцена той атаки. Чубатый, смятое гневом лицо Мишки Кошевого, Емельян Грошев, сбегаящий с раненым сотником под гору.

Командование сотнями принял офицер Любишкин Павел, помощник Григория. По его приказу двое казаков отвели Григория к коноводам. Казаки, подсаживая Григория на коня, участливо советовали:

— перевяжите рану-то.

— Бинт есть?

Григорий уже сел в седло, но, подумав, слез и, спустив шаровары, морщась от озноба, заливавшего потную спину, живот и ноги, торопясь перевязал опаленную кровоточащую ранку, сделанную словно надрезом перочинного ножа.

В сопровождении своего ординарца он поехал тем же кружным путем к месту, откуда начали контр-наступление. Глядел на густой засев в снегу лошадиных следов, на знакомые очертания балки, по которой несколько часов назад вел свои сотни. Его клонило в сон, и уже почему-то далеким и ненужным казалось то, что происходило на бугре.

А там суетливо и разбросанно пылились винтовочные выстрелы, гремела тяжелая батарея противника, выручавшая своих, да изредка порывающие пулеметы строчили пунктиром, словно подводя невидимую черту для итогов боя.

Версты три Григорий ехал по балке. Лошади стряли.

— Правь на чистое... — буркнул Григорий ординарцу, выезжая на сутробистый вал балки.

Вдали по полю, как присевшие грачи, редко чернели фигуры убитых. На самом лезвии горизонта скакала, казавшаяся отсюда крохотной, лошадь без всадника.

Григорий видел, как основное ядро чернецовцев, потрепанное и поредевшее, вырвавшись из боя, сворачиваясь, отходит в Глубокую. Он пустил своего гнедого намётом. Вдали виднелись разрозненные кучки казаков. Подскакав к первой из них, Григорий увидел Голубова. Он сидел, отвалиясь, на седле. Полушубок, опущенный в бортах пожелтевшим каракулем, был на нем расстегнут, папаха сдвинута набок, лоб увлажнен потом. Покручивая вахмистрские, торчмя поднятые усы, Голубов хрипато крикнул:

— Мелехов, молодец! Да ты ранен никак? Чорт возьми! Кость цела? — И, не дожидаясь ответа, запарился улыбкой: — На-голову! На-

голову разнесли!.. Офицерский отряд так распылили, что не собрать. Набилось им в хвост!

Григорий попросил покурить. По всему полю стекались казаки и краснотвардейцы. От далеко черневшей впереди тучи рысил верховой казак:

— Сорок человек взяли, Голубов!.. — крикнул он издали. — Сорок офицеров и самого Чернецова!

— Врешь?! — испуганно крутнулся в седле Голубов и поскакал, нещадно рубя плетью высокого белоногого коня.

Григорий, выждав немного, рысью поехал за ним.

Густую толпу взятых в плен офицеров сопровождал, кольцом охвативший их, конвой в тридцать казаков — 44-го полка и одной из сотен 27-го. Впереди всех шел Чернецов. Убегая от преследования, он сбросил полушубок и теперь шел в одной легонькой кожаной куртке. Погон на левом плече его был оборван. На лице возле левого глаза кровянилась свежая ссадина. Он шел быстро, не сбиваясь с ноги. Папаха, надетая набекрень, придавала ему вид беспечный и молодецкий. И тени испуга не было на его розовом лице: он, видимо, не брился несколько дней, — русая поросль золотилась на щеках и подбородке. Чернецов сурово и быстро оглядывал подбегавших к нему казаков, горькая, ненавидящая складка тенилась между бровей. Он на ходу зажег спичку, закурил, стиснув папиросу углом розовых твердых губ.

В большинстве офицеры были молодые, у нескольких лишь инеем белела седина. Один раненый в ногу, приотставал, его толкал прикладом в спину маленький большеголовый и рябой казачок. Почти рядом с Чернецовым шел высокий, бравый есаул. Двое под руку (один — хорунжий, другой — сотник) шли, улыбаясь; за ними, без шапки, курчавый и широкоплечий, шел юнкер. На одном была внапашку накинута солдатская шинель, с погонами, вшитыми на-смерть. Еще один шел без шапки, надвинув на черные женски-красивые глаза красный офицерский башлык, ветер заносил концы его ему на плечи.

Голубов ехал сзади. Приотставая, он закричал казакам:

— Слушай сюда... За сохранность пленных вы отвечаете по всем строгостям военно-революционного времени. Чтобы доставили в штаб в целости!

Он подозвал одного из конных казаков, набросал, сидя на седле, записку, свернув ее, передал казаку.

— Скажи! Отдай это Подтелкову.

Обращаясь к Григорию, спросил:

— Ты туда поедешь, Мелехов?

Получив утвердительный ответ, Голубов поравнялся с Григорием, сказал:

— Скажи Подтелкову, что Чернецова я беру на поруки! Понял?.. Ну, так и передай. Езжай.

Григорий, опередив толпу пленных, прискакал в штаб Ревкома, стоявший в поле неподалеку от какого-то хутора. Возле широкой тавричанской тачанки, с обмерзлыми колесами и пулеметом, покрытым зеленым чехлом, ходил Подтелков. Тут же, постукивая каблуками, топтались штабные, вестовые, несколько офицеров и казаки-ординарцы. Минаев, только недавно, как и Подтелков, вернулся из цепи. Сидя на козлах, он со звоном кусал белый, замерзший хлеб, с хрустом жевал.

— Подтелков! — Григорий от'ехал в сторону. — Сейчас пригонит пленных. Ты читал записку Голубова?

Подтелков с силой махнул плетью, уронив низко опущенные зрачки, набрякая кровью, крикнул:

— Плевать мне на Голубова!.. Мало ли ему чево захочется! На поруки ему Чернецова, этова разбойника и контр-революционера?.. Не дам!.. Расстрелять их всех — и баста!

— Голубов сказал, што берет ево на поруки.

— Не дам!.. Сказано: не дам! Ну, и все! Революционным судом ево судить и без промедления наказать. Штоб и другим неповадно было! Ты знаешь, — уже спокойнее проговорил он, остро глядявываясь в приближавшуюся толпу пленных: — знаешь, сколько он крови на белый свет выпустил? Море!.. Сколько он шахтеров перевёл?.. — и опять, закипая бешенством, свирепо выкатил глаза: — Не дам!..

— Тут орать нечево! — повысил и Григорий голос; у него дрожало все внутри, бешенство Подтелкова словно привилось и ему. — Вас тут много судей! Ты вот туда пойдй! — дрожа ноздрями указал он назад. — А над пленными вас много распорядителей!

Подтелков отошел, комкая в руках плеть. Издали крикнул:

— Я был там! Не думай, што на тачанке спасался! А ты, Мелехов, помолчи, возьми-ка!.. Понял?.. Ты с кем гутаришь?.. Так-то!.. Офицерские замашки убирай! Ревком судит, а не всякая..

Григорий тронул к нему коня, забыв про рану, прыгнул с седла и, простреленный болью, упал навзничь. Из примерзшей к бинту раны, обжигая, захлопала кровь. Поднялся он без посторонней помощи, кое-как доковылял до тачанки, привалился боком к задней рессоре.

Подошли пленные. Часть пеших конвойных смешалась с ординарцами и казаками, бывшими в охране штаба. Казаки еще не остыли от боя, разгоряченно и злю блестя глазами, перекидывались замечаниями о подробностях и исходе боя.

Подтелков, тяжело ступая по проваливающемуся снегу, подошел к пленным. Стоявший впереди всех Чернецов глядел на него, презрительно щуря светлые отчаянные глаза; вольно отставив левую ногу, покачивая ею, давил белой подковой верхних зубов прихваченную изнутри розовую губу. Подтелков подошел к нему в упор. Он весь дрожал, немигающие глаза его ползали по изрытвленному снегу, поднявшись скрестились и обломили тяжестью ненависти бесстрашный, презирающий взгляд Чернецова.

— Попался... гад! — kloкочущим низким голосом сказал Подтелков и ступил шаг назад; щеки его сабельным ударом расплюсовала кривая черная улыбка.

— Изменник казачества! Под-лец! Предатель!.. — сквозь стиснутые зубы зазвенел Чернецов.

Подтелков мотал головой, словно уклоняясь от пощечин, чернел в скулах, раскрытым ртом хлипко всасывал воздух.

Последующее разыгралось с изумительной быстротой. Оскаленный побледневший Чернецов, прижимая к груди кулаки, весь наклонясь вперед, шел на Подтелкова. С губ его, сведенных судорогой, соскакивали невнятные, перемешанные с матерной руганью слова. Что он говорил, — слышал один Подтелков, медленно задом отходивший назад.

— ...Придется тебе... ты знаешь?! — резко поднял Чернецов голос.

Слова эти были услышаны и пленными офицерами, и конвоем, и штабными.

— Но-о-о-о... — как задушенный, захрипел Подтелков, кидая руку на эфес шашки.

Сразу стало тихо. Отчетливо заскрипел снег под сапогами Минаева, Кривошлыкова и еще нескольких человек, кинувшихся к Подтелкову. Но он опередил их; всем корпусом поворачиваясь вправо, приседая, вырвал из ножен шашку, и, выпадом рванувшись вперед, со страшной силой рубнул Чернецова по голове.

Григорий видел, как Чернецов, дрогнув, поднял над головой левую руку, успел заслониться от удара, видел, как углом сломалась перерубленная кисть, и шашка беззвучно обрушилась на откинутую голову Чернецова. Сначала свалилась папаха, а потом, будто переломленный в стебле колос, медленно падал Чернецов, со странно перекосившимся ртом и мучительно зажмуренными, сморщенными, как от молнии, глазами.

Подтелков уже лежачего рубнул его еще раз, отошел постаревшей грузной походкой, на ходу вытирая покатые доли шашки, черневшие кровью.

Ткнувшись в тачанку, он повернулся к конвойным, закричал выдохшимся, лающим голосом:

— Руби-и-и их... такую мать!! Всех!.. Нету пленных... в кровину, в сердце!!

Лихорадочно застучали выстрелы. Офицеры, сталкиваясь, кинулись врассыпную. Поручик с красивейшими женскими глазами, в красном офицерском башлыке, побежал, ухватясь руками за голову. Пуля заставила его высоко, словно через барьер, прыгнуть. Он упал — и уже не поднялся. Высокого, бравого есаула рубили двое. Он хватался за лезвие шашек, с разрезанных ладоней его лилась на рукава кровь; он кричал, как ребенок, упал на колени, на спину, перекатывал по снегу голову; на лице виднелись юдны залитые кровью глаза да черный рот, просверленный сплошным криком. По лицу полосовали его взлетающие шашки, по черному рту, а он все еще кричал тонким от ужаса и боли голосом. Раскорячившись над ним, казак, в шинели с оторванным хлястиком, прикончил его выстрелом. Курчавый юнкер чуть не прорвался через цепь — его настиг и ударом в затылок убил какой-то атаманец. Он же вогнал пулю промеж лопаток сотнику, бежавшему в раскрытавшейся от ветра шинели. Сотник присел и до тех пор скреб пальцами грудь, пока умер. Седоватого под'есаула убили на месте; расставаясь с жизнью, выбил он ногами в снегу глубокую яму, и еще бы бил, как добрый конь на привязи, если бы не dokonчили его сжалившись казаки.

Григорий в первый момент, как только началась расправа, оторвался от тачанки, не сводя с Подтелкова налитых мутью глаз, хромая быстро поковылял к нему. Сзади его поперек схватил Минаев, ломая, выворачивая руки, отнял наган, заглядывая в глаза померкшими глазами, задыхаясь, спросил:

— А ты думал — как?

XIII

Слепяще-яркий снеговой хребет бугра, облитый глазурью солнца и синью безоблачного дня, белел, сахарно искрился. Под ним пестрым лоскутным одеялом лежала слобода Ольховый Рог. Влево синела Свиноуха, вправо туманными пятнами пластались хуторки и немецкие колонии, за изгибом голубела Терновская. На восток за слободой корячился и полз вверх пологий, изрытый балками, меньший размером, бутор. По нем частоколом торчали телеграфные столбы, уходившие на Кашары.

День был на-редкость ясный, морозный. Около солнца радужные дымились столбы. Ветер гнул с севера. В степи сипела поземка. Но

снеговые просторы, обнятые горизонты, были светлы, лишь на востоке, под самым острием горизонта, задержанная лиловой марью курилась степь.

Пантелей Прокофьевич, везший Григория с Миллерова, решил в Ольховом Рогу не останавливаться, а тянуть до Кашар, и там заночевать. Он выехал из дома по телеграмме Григория, к вечеру 28 января приехал на Миллерово. Григорий ожидал его на постоялом дворе. Наутро они выехали и около одиннадцати часов проезжали уже Ольховый Рог.

После того, как был ранен в бою под Глубокой, Григорий провалялся в походном лазарете на Миллерово неделю; слегка подлечив ногу, решил поехать домой. Коня привели ему станичные казаки. Ехал Григорий со смешанным чувством недовольства и радости: недовольства — потому, что покидал свою часть в самый разгар борьбы за власть на Дону, а радость испытывал при одной мысли, что увидит домашних, хутор; сам от себя таил желание повидать Аксиныю, но были и о ней думки.

С отцом они встретились как-то отчужденно. Пантелей Прокофьевич (нажужжал ему в уши Петро) хмуро присматривался к Григорию, — в его коротких взглядах густело недовольство, выжидающая тревога. На станции вечером он долго расспрашивал Григория о событиях, полыхавших в области; ответы сына, видимо, его не удовлетворяли. Он жевал поседевшую бороду, глядел на свои подшитые кожей валенки, чмыкал носом. В спор вступил неохотно, но разгорелся, защищая Каледина, в горячую минуту попрежнему прицкнул на Григория и даже хромой ногой затоптал:

— Ты мне не толкуй! Был у нас по осени Каледин в хуторе! Сбор был на майдане, он на стол влез, гутарил со стариками и предсказал, как по библии, што придут мужики, война будет, и ежели будем мы туды-суды шататься, — заберут все и зачнут заселять область. Он ишо в то время знал, што будет война. Што ж вы, сукины сыны, думаете? Аль он меньше вашево знает? Ученый такой генерал, армию водил — и меньше твоево знает? В Каменской-то позасели вот такие, как ты, пустобрехи необразованные — и мутят народ. Подтелков твой — из каких? Вахмистр?.. Ого! Одних со мной чинов. Вот это так!.. Дожи-ли... Дальше некуда!

Григорий неохотно спорил с ним. Знал, еще не видя отца, какого он толка. А тут новое всучилось: не мог ни простить, ни забыть Григорий гибель Чернецова и бессудный расстрел пленных офицеров.

Лошади в дышловой запряжке легко несли сани-кошелку. Сзади, привязанный чумбуром, рысил оседланный григорьев конь. Знакомые

с детства разворачивались в дороге слободы и хутора: Кашары, Поповка, Каменка, Нижне-Яблоновский, Грачев, Ясеновка. Всю дорогу до самого хутора Григорий как-то несвязно и бестолково думал о недавнем, пытался хоть веками наметить будущее, но мысль доходила до отдыха дома и дальше напарывалась на тупик. «Приеду, поддохну трошки, залечу ранку, а там... — думал он, и мысленно махнул рукой: — ...там видно будет. Само дело покажет»...

Ломала его и усталость, нажитая в войне. Хотелось отвернуться от всего бурлившего ненавистью, враждебного и непонятного мира. Там назади все было путанно, противоречиво. Трудно нащупывалась верная тропа; как в топкой гати, зыбилась под ногами почва, тропа дробилась, и не было уверенности — по той ли, по которой надо, идет. Тянуло к большевикам — шел, других вел за собой, а потом брало раздумье, холодел сердцем. «Неужто прав Изварин? К кому же прислониться, у кого полной пригоршней почерпнуть уверенности?» Об этом невнятно думал Григорий, привалаясь к задку кошелки. Но, когда представлял, как будет к весне готовить бороны, арбы, плеть из краснотала ясли, а когда разденется и обсохнет земля, — выедет в степь, держась наскучавшими по работе руками за чапиги ¹⁾, пойдет за плугом, ощущая его живое биение и толчки; представлял, как будет вдыхать сладкий дух молодой травы и поднятого лемехами чернозема, еще не утратившего пресный аромат снеговой сырости, — теплело на душе. Хотелось убирать скотину, метать сено, дышать увядшим запахом донника, пырея, пряным душком навоза. Мира и тишины хотелось, — поэтому-то застенчивую радость и берег в суровых глазах Григорий, глядя вокруг: на лошадей, на крутую, обтянутую тулупом, спину отца. Все напоминало ему полузабытую прежнюю жизнь: и запах овчин от тулупа, и домашний вид нечищенных лошадей, и какой-нибудь петух в слободе, горлающий с погребницы. Сладка и густа, как хмелины, казалась ему в это время жизнь тут, в глушине.

На другой день перед вечером под'ехали к хутору. Григорий с бугра кинул взгляд за Дон: вон Бабы ендывы, опушенные собольим мехом камыша; вон сухой тополь, а переезд через Дон уже не тут, где был раньше. Хутор, знакомые квадраты кварталов, церковь, площадь... Кровь кинулась ему в голову, когда напал глазами на свой курень. Воспоминания наводнили его. С база поднятый колодезный журавль, словно кликал, вытянув вверх серую вербовую руку.

— Не щипет глаза? — улыбнулся Пантелей Прокофьевич, оглядываясь, и Григорий, не лукавя и не кривя душой, сознался:

— Щипет... да ишо как!..

¹⁾ Чапиги — поручни плуга.

— Што значит — родина! — удовлетворенно вздохнул Пантелей Прокофьевич.

Он правил на середину хутора. Лошади резво бежали с горы, сани шли под раскат, виляя из стороны в сторону. Григорий отгадал отцовский замысел, но все же спросил:

— Ты чево ж правишь в хутор? Держи к своему проулку.

Пантелей Прокофьевич, поворачиваясь и ухмыляясь в заиндевшую бороду, мигнул:

— Сыновой на войну провожал рядовыми казаками, а выслужились в офицерья. Што ж, аль мне не гордо прокатить сына по хутору? Пущай глядят и завидуют. А у меня, брат, сердце маслом обливается!

На главной улице он сдержанно крикнул на лошадей, свешиваясь на бок, поиграл махорчатым кнутом, и лошади, чуя близкий дом (словно и не лег сзади путь в сто сорок верст!), пошли свежо, шибко. Встречавшиеся казаки кланялись, с базов и из окон куреней из-под ладоней глядели бабы; через улицу, кудахтая, перекаати-полем катились куры. Все шло гладко, как по писаному. Проехали площадь. Конь Григория покосил глазом на чью-то привязанную к моховскому забору лошадь, заржал и высоко понес голову. Завиднелся конец хутора, крыша астаховского куреня... Но тут-то, на первом перекрестке, случилось неладное: поросенок, бежавший через улицу, замешкался, попал под копыта лошадей, хрюкнул и откатился раздавленный, повизгивая, норовя приподнять переломленный хребет.

— Ах, черти тебя поднесли!.. — выругался Пантелей Прокофьевич, успев стегнуть кнутом раздавленного поросенка.

На беду принадлежал он Анютке, вдове Афоньки Озерова, — бабе злой и не в меру длинноязыкой. Она не замедлила выскочить на баз; накидывая платок, посыпала такими отборными ругательствами, что Пантелей Прокофьевич даже лошадей попридержал, повернулся назад.

— Замолчи, дура! Чево орешь? Заплатим за твою шелудивова!..

— Нечистый дух!.. Чертяка!.. Сам ты шелудивый, кобель хромой!.. Вот к атаману тебя зараз!.. — горланила она, махая руками. — Я тебя, узду твою мать, научу, как сиротскую животину давить!..

Заело Пантелея Прокофьевича, крикнул, багровея:

— Халява!

— Турка проклятый!.. — с живостью отозвалась Озерова.

— Сука, сто чертов твой матери! — повысил басок Пантелей Прокофьевич.

Но Анютка Озерова за словом в карман сроду не лазила.

— Чужбинник! Блядун старый! Воряга! Борону чужую украл!..

По жалмеркам бегаешь!.. — зачастила она сорочьим говором.

— Вот я тебя кнутом, псюрня!.. Заткни зевало!

Но тут Анютка такое загнула, что даже Пантелей Прокофьевич, — человек, поживший и повывавший на своем веку, — зарозовел от смущения и сразу взмок потом.

— Трогай!.. Чево связался? — сердито сказал Григорий, видя, что понемногу на улице выходит народ, со вниманием прислушивается к случайному обмену мнениями между старым Мелеховым и честной вдовой Озеровой.

— Ну, и язык... с вожжину длиной! — сокрушенно плюнул Пантелей Прокофьевич и так погнал лошадей, словно намеревался раздавить самую Анютку.

Уже проехав квартал, он не без боязни оглянулся:

— Плюется и костерит, почем зря!.. Ишь, ты вражина... Штоб ты лопнула поперек, чертяка толстая! — с вожделением сказал он. — Тебя бы вместе с твоим поросем стоптать! Попадись вот такой хлюстанке на язык, — одни мослы останутся.

Мимо рванулись голубые ставни куреня. Петро без шапки, в распоясанной гимнастерке растворял ворота. С крыльца мелькнул беленький платок и смеющееся, блестящее черными глазами лицо Дуняшки.

Целуя брата, Петро мельком заглянул ему в глаза:

— Здоровый?

— Рану получил.

— Где?

— Под Глубокой.

— Нужда заставила там огинаться! Давно бы шел домой.

Он тепло и дружески потряс Григория, с рук на руки передал Дуняшке. Обнимая крутые вызревшие плечи сестры, Григорий поцеловал ее в губы и глаза, сказал, отступая, дивясь:

— Да ты, Дуняха, чорт тебя знает!.. Ишо какая девка вышла, а я - то думал — дуренькая будет, некудышненькая.

— Ну, уж ты, братушка!.. — Дуняшка увернулась от щипка и, сияя таким же, как у Григория, белозубым оскалом улыбки, отошла.

Ильинична несла на руках детей; ее бегом опередила Наталья. Расцвела и похорошела она диковинно. Гладко причесанные черные блестящие волосы, собранные назад в тяжелый узел, оттеняли ее радостно зарумяневшее лицо. Она прижалась к Григорию, несколько раз быстро, невпопад коснулась губами его щек, усов и, вырывая из рук Ильиничны сына, протягивала его Григорию.

— Сын-то какой — погляди! — звенела с горделивой радостью.

— Дай мне м о в о сына поглядеть! — взволнованно отстраняла ее Ильинична.

Она нагнула голову Григория, поцеловала его в лоб и, мимолетно глядя грубой рукой его лицо, заплакала от волнения и радости.

— А дочь-то, Гри-и-иша!.. Ну, возьми же!..

Наталья посадила на другую руку Григория закутанную в платок девочку, и он, растерявшись, не знал, на кого ему глядеть: то ли на Наталью, то ли на мать, то ли на детишек. Насупленный, угрюмо-глазый сынишка вылит был в мелеховскую породу: тот же удлинённый разрез черных, чуть строгих глаз, размашистый рисунок бровей, синие выпуклые белки и смуглая кожа. Он совал в рот грязный кулачишко, избочившись, неприступно и упорно глядел на отца. У дочери Григорий видел только крохотные внимательные и такие же черные глазенки, — лицо ее кутал платок.

Держа их обоих на руках, он двинулся-было к крыльцу, но боль пронизала ногу.

— Возьми-ка их, Наташа... — Григорий виновато, в одну сторону рта, усмехнулся. — А то я на порожки не влезу...

Среди кухни, поправляя волосы, стояла Дарья. Улыбаясь, она развязно подошла к Григорию, закрыла смеющиеся глаза, прижимаясь влажными теплыми губами к его губам.

— Табаком - то прет! — смешливо поиграла полукружьями подведенных, как нарисованных тушью, бровей.

— Ну, дай ишо разок погляжу на тебя! Ах, ты, мой чадунюшка, сыночек!

Григорий улыбался, щекочущее волнение хватало его за сердце, когда он прижимался к материнскому плечу.

Во дворе Пантелей Прокофьевич распрягал лошадей, хромал во-крут саней, алея красным кушаком и верхом треуха. Петро уже отвел в конюшню григорьева коня, нес в сенцы седло и что-то говорил, поворачиваясь на ходу к Дуняшке, сносившей с саней боченок с керосином.

Григорий разделся, повесил на спинку кровати тулуп и шинель, причесал волосы. Присев на лавку, он позвал сынишку.

— Подика ко мне, Мишатка. Ну, чево ж ты, — не угадаешь меня?

Не вынимая изо рта кулака, тот подошел бочком, несмело остановился возле стола. На него любовно и гордо глядела от печки мать. Она что-то шептала на ухо девочке, спустила ее с рук, тихонько толкнула.

— Иди же!

Григорий сгреб их обоих, рассадив на коленях, спросил:

— Не угадаете меня, орехи лесные? И ты, Подлюшка, не угадаешь папаньку?

— Ты не папанька, — прошептал мальчуган (в обществе сестры он чувствовал себя смелее).

— А кто же я?

— Ты — чужой казак.

— Вот так голос!.. — Григорий захохотал. — А папанька где ж у тебя?

— Он у нас на службе, — убеждающе, склоняя голову, сказала девочка (она была побойчей).

— Так ево, чадуношки! Пушай свой баз знает. А то он идей-то лыгает по целому году, а его узнавай! — с поддельной суровостью встала Ильинична и улыбнулась на улыбку Григория. — От тебя и баба твоя скоро откажется. Мы уж за нее хотели зятя примать.

— Ты што же это, Наталья? А? — шутливо обратился Григорий к жене.

Она зарделась, преодолевая смущение перед своими, подошла к Григорию, села около, бескрайне счастливыми глазами долго обводила всего его, гладила горячей черствой рукой его сухую коричневую руку.

— Дарья, на стол собирай!

— У нево своя жена есть, — засмеялась та и все той же выющейся, легковесной походкой направилась к печке.

Попрежнему была она тонка, нарядна. Сухие, красивые ноги ее туго охватывали фиолетовые шерстяные чулки, аккуратный чирик сидел на ноге, как вточенный; малиновая сборчатая юбка туго затянута, безукоризненной белизной блещет расшитая завеска. Григорий перевел взгляд на жену — и в ее внешности заметил некоторую перемену. Она приделась к его приезду: сатиновая голубая кофточка, с узким кружевным в кисти рукавом, облегал ее ладный стан, бугрилась под мягкой большой грудью; синяя юбка, с расшитым морщиненным подолом, внизу была широка, вверху — в обхват. Григорий сбоку оглядел ее полные, как выточенные ноги, волнующе-тугой обтянутый живот и широкий, как у кормленной кобылицы, зад, — подумал: «Казачку из всех баб угадаешь. В одеже — привычка, штоб все на виду было; хочешь — гляди, а хочешь — нет. А у мужичек зад с передом не разберешь, — как в мешке ходит»...

Ильинична перехватила его взгляд, сказала с нарочитой хвастливостью:

— Вот у нас, как офицерские жены ходют! Ишо и городским нос утрут!

— Чево вы там, маманя, гутарите! — перебила ее Дарья. — Куда уж нам до городских?! Сережка вон сломалась, да и той грош цена! — докончила она с горестью.

Григорий положил руку на широкую, рабочую спину жены, в первый раз подумал: «Красивая баба, в глаза шибается... Как же она жила

без меня? Небось, завидовали на нее казаки, да и она, может, на ково-нибудь позавидовала. А што ежели жалмеркой принимала?» От этой неожиданной мысли у него звучно ёкнуло сердце, стало пакостно на душе. Он испытующе поглядел в ее розовое, лоснившееся и благоухавшее огуречной помадой лицо. Наталья вспыхнула под его внимательным взглядом, осилив смущение, шепнула:

— Ты чево так глядишь? Скучился, што ли?

— Ну, а как же?!

Григорий отогнал негожие мысли, но что-то враждебное, неосознанное шевельнулось в эту минуту к жене.

Крехтя, влез в дверь Пантелей Прокофьевич. Он помолился на образа, кряхнул.

— Ну, ишо раз здорово живете!

— Слава богу, старик... Замерз? А мы ждали: щи горячие, прямо с пылу, — суетилась Ильинична, гремя ложками.

Развязывая на шее красный платок, Пантелей Прокофьевич гремел обмерзшими подшитыми валенками. Стянул тулуп, содрал намерзшие на усах и бороде сосульки и, подсаживаясь к Григорию, сказал:

— Замерз, а в хуторе обогрелся... Переехали поросенка у Анютки...

— У какой? — оживленно спросила Дарья и перестала кромсать высокий белый хлеб.

— У Озеровой. Как она выскочит, подлюка, как понесет. И такой, и сякой, и жулик, и борону у ково-то украл. Какую борону? — черти ее знают!

Пантелей Прокофьевич подробно перечислил все прозвища, которыми наделяла его Анютка, — не сказал лишь о том, что упрекнула его в молодом грехе, по части жалмерок. Григорий усмехнулся, садясь за стол. И Пантелей Прокофьевич, желая оправдаться в его глазах, горячо закончил:

— Таковую ересь перла, што и в рот взять нечево! Хотел уж вернуться, кнутом ее перепоясать, да Григорий был, а с ним все как-то вроде неспособно.

Петро отворил дверь, и Дуняшка на кушаке ввела красного, с лысиной, телка.

— К масленой блины с каймаком будем исть! — весело крикнул Петро, пихая телка ногой.

После обеда Григорий развязал мешок, стал оделять семью гостинцами.

— Это тебе, маманя... — протянул он теплый шалевый платок.

Ильинична приняла подарок, хмурясь и розовея по-молодому. Накинула его на плечи, да так повернулась перед зеркалом и повела плечами, что даже Пантелей Прокофьевич вознегодовал:

— Карга старая, а туда же — перед зеркалой! Тьфу!..

— Это тебе, папаша...— скороговоркой буркнул Григорий, на глазах у всех разворачивая новую казачью фуражку, с высоко вздернутым верхом и пламенно-красным околышем.

— Ну, спаси Христос! А я фуражкой бедствовал. В лавках нынешний год их не было... Абы в чем лето проходил? В церкву ажник страмно иттить в старой. Ее, эту старую, уж на чучелу впору надевать, а я носил... — говорил он сердитым голосом, озираясь, словно боясь, что кто-нибудь подойдет и отнимет сыновий подарок.

Сунулся примерить-было к зеркалу, но взглядом стерегла его Ильинична. Старик перенял ее взгляд, круто вильнул, похромал к самовару. Перед ним и примерял, надевая фуражку набекрень.

— Ты чево ж это, дрючек старый?— напустилась Ильинична. Но Пантелей Прокофьевич отбрехался:

— Господи! Ну, и глупая ты! Ить самовар, а не зеркала? То-то и оно!

Жену наделил Григорий шерстяным отрезом на юбку; детям роздал фунт медовых пряников; Дарье — серебряные с камушками серьги; Дуняшке — на кофточку; Петру — папирос и фунт табаку.

Пока бабы тараторили, рассматривая подарки, Пантелей Прокофьевич пиковым королем прошелся по кухне и даже грудь выгнул:

— Вот он казачок лейб-гвардии казачьего полка! Призы сымал! На императорском смотре первый захватил! Седло и всю амуницию! Ух, ты!..

Петро, покусывая пшеничный ус, любовался отцом, Григорий посмеивался. Закурили, и Пантелей Прокофьевич, опасливо поглядев на окна, сказал:

— Покеда не подошли разная родная и соседи... Расскажи вот Петру, што там делается.

Махнул Григорий рукой.

— Дерутся.

— Большевики где зараз?— спросил Петро, усаживаясь поудобней.

— С трех сторон: с Тихорецкой, с Таганрога, с Воронежа.

— Ну, а Ревком ваш что думает? Зачем их допускают на наши земли? Христоня с Иваном Алексеевым приехали, брехали разное, но я им не верю. Не так што-то там...

— Ревком — он бессильный. Бегут казаки по домам.

— Через это, значит, и прислоняется он к Советам?

— Конечно, через это.

Петро помолчал, вновь закуривая, открыто глянул на брата:

— Ты какой же стороны держишься?

— Я за советскую власть.

— Дурак! — порохом пыхнул Пантелей Прокофьевич. — Петро, хучь ты втолкуй ему!

Петро улыбнулся, похлопал Григория по плечу.

— Горячий он у нас — как необъезженный конь. Рази ж ему втолкуешь, батя?

— Мне нечево втолковывать! — загорячился Григорий. — Я сам не слепой... Фронтловики што у вас гутарют?

— Да што нам эти фронтловики! Аль ты этово дуролома Христана не знаешь? Чево он может понимать? Народ заблудился весь, не знает, куда ему податься... Горе юдно! — Петро махнул рукой, закусил ус. — Гляди: вот што к весне будет, — не соберешь... Поиграли и мы в большевиков на фронте, а теперь пора за ум браться. «Мы ничево чужова не хотим, и наше не берите» — вот как должны сказать казаки всем, кто нахрапом лезет к нам. А в Каменской у нас грязно дело. Покумились с большевиками, — они и уставляют свои порядки.

— Ты, Гришка, подумай. Парень ты не глупой. Ты должен уразуметь, што казак — он, как был казак, так казаком и останется. Вонючая Русь у нас не должна править. А ты знаешь, што иногородние зараз гутарют, всю землю разделить на души. Это как?

— Иногородним коренным, какие в Донской области живут издавна, дадим землю.

— А шиша им! Вот им выкусить!.. — Пантелей Прокофьевич сложил дулю, дергая большим когтястым пальцем, долго водил вокрут григорьева горбатого носа.

По крыльцу загромыхали шаги. Застонали ободранные морозом порожки. Вошли Аникушка, Христоня, Томилин Иван в несуразно высокой заячьей папахе.

— Здорово, служивый! Пантелей Прокофич, могарыч станови! — гаркнул Христоня.

От его крика испуганно мькнул задремавший у теплой печки телок. Он, оскользаясь, вскочил на свои еще шаткие ноги, круглыми агазовыми глазами глядя на пришедших, и от испуга, наверное, зацедил на пол тоненькую струйку. Дуняшка перебила ему охоту, легонько стукнув по спине, вытерев лужу, подставила поганый чугунок.

— Телка испужал, горластый! — досадливо сказала Ильинична.

Григорий пожал казакам руки, пригласил садиться. Вскоре пришли еще казаки с этого края хутора. Под разговор накурили так, что лампа замигала и надсадно закашлял телок.

— Лихоманка вас забери! — ругалась Ильинична, уже в полночь выпроваживая гостей. — Вон на баз ступайте, там и дымите, трубоктуры! Идите, идите! Служивый наш ишо не отдыхал с дороги. Ступайте с богом!

XIV

Наутро Григорий проснулся позднее всех. Разбудило его громкое, как весной, чулоканье воробьев под застрехами крыши и за наличниками окон. В щелях ставней пылилась золотая россыпь солнечных лучей. Звонили к обедне. Григорий вспомнил, что сегодня—воскресенье. Натальи не было рядом с ним, но перина еще хранила тепло ее тела. Она, очевидно, встала недавно.

— Наташа!— позвал Григорий.

Вошла Дуняшка.

— Тебе чево, братушка?

— Открой окошки и покличь Наталью. Она што делает?

— Стряпается с маманей, зараз придет.

Наталья вошла, зажмурилась от темноты.

— Проснулся?

От рук ее пахло свежим тестом. Григорий лежа, обнял ее, вспомнил ночь,— засмеялся.

— Проспала?

— Ага! Уморила... ноченька, — она улыбнулась, краснея, пряча на волосатой груди Григория голову.

Помогла Григорию перебинтовать рану, достала из сундука праздничные шаровары, спросила:

— Мундир с крестами наденешь?

— Ну ево!— испуганно отмахнулся Григорий.

Но Наталья упрашивала неотступно:

— Надень! Батаня будет довольный. Чево же ты задаром их заслуживал, штоб они по сундукам валялись?

Уступая ее настояниям, Григорий согласился. Он встал, взял у Петра бритву, побрился, вымыл лицо и шею.

— Затылок-то брил?— спросил Петро.

— Ох, чорт, забыл!

— Ну, садись, побрею.

Холодный помазок обжег шею. Григорий видел в зеркало, как Петро, по-детски высунув на сторону язык, водит бритвой.

— Шея-то потоньшела у тебя, как у быка после пахоты,— улыбнулся он.

— Небось, на казенных харчах не разглажеешь.

Григорий надел мундир с попонами хорунжего, с густым завесом крестов, и когда погляделся в запотевшее зеркало, — почти не угадал себя: высокий, сухощавый, цыгановато-черный офицер глядел на него двойником.

— Ты — как полковник! — восторженно заметил Петро, без зависти любуясь братом.

Слова эти, помимо воли Григория, доставили ему удовольствие. Он вышел в кухню. Любующимся взглядом пристыла к нему Дарья. Дуняшка ахнула:

— Фу, какой ты пышный!..

Ильинична и тут не удержалась от слез. Вытирая их грязной завеской, ответила на подтрунивание Дуняшки:

— Народи ты себе таких, чекалка! По крайней мере два сыночка, и обое в люди вышли!

Наталья не сводила с мужа влюбленных, горячих и затуманенных глаз.

Григорий, накинув внапашку шинель, вышел на баз. Ему трудно было сходить с крыльца, — мешала раненая нога. «Без костыля не обойдусь», — подумал он, придерживаясь за перила.

Пулю вырезали ему в Миллерове, ранку затянуло коричневым струпом, — он-то, стягивая кожу, и препятствовал вольно сгинаться ноге.

На завалинке грелся кот. Возле крыльца на солнцепеке снег вытаял, — мокрела лужица. Григорий внимательно и обрадованно оглядывал баз. Тот же около крыльца стоял столб, с колесом, укрепленным наверху. С детства помнил Григорий это колесо, устроенное для бабьих нужд: на него, не сходя с крыльца, ставили на ночь молоко в корчажках, днем сушилась на нем посуда, выжаривались на солнце горшки. Некоторые перемены на базу бросались в глаза: дверь амбара была выкрашена взамен слинявшей краски желтой глиной, сарай заново покрыт еще не побуревшей житной соломой; костер дыбом поднятых слег¹⁾ казался меньше, — должно быть, израсходовали часть на поправку городьбы. Насыпной горб погреба сизел золой; на ней, зябко поджав ногу, стоял черный, как ворон, петух в окружении десятка оставленных на племя пестро-цветных кур. Под сараем спасался от зимней непогоды сельскохозяйственный инвентарь: ребристо торчали остовы арб, горела какая-то металлическая часть косилки, посыпанная через трещину в крыше сеевом солнечного света. Около конюшни, на новозном супреве, сидели гуси. Чубатый голландский тусак высокомерно скопился на хромавшего мимо Григория.

Оглядев все хозяйство, Григорий вернулся в курень.

В кухне сладко пахло топленным коровьим маслом, горячим припеком хлебов. Дуняшка на узорчатой тарелке обмывала моченые яблоки. Глянув на них, Григорий, оживляясь, спросил:

— Арбузы соленые есть?

1) Слега — шест.

— Полезь достань, Наталья! — откликнулась Ильинична.

Пришел из церкви Пантелей Прокофьевич. Просфорку с вынутой частицей разломил на девять частей — по числу членов семьи, роздал за столом. Сели завтракать. Петро, тоже принарядившийся, даже усы подмазавший чем-то, сидел рядом с Григорием. Против них на краешке табуретки мостилась Дарья. Столб солнечных лучей валился ей на розовое, намазанное жировкой лицо. Она щурила глаза, недовольно снижала блестящие на солнце черные ободья бровей. Наталья кормила детей печеной тыквой, улыбаясь, изредка поглядывала на Григория. Дуняшка сидела рядом с отцом. Ильинична расположилась на краю, поближе к печке.

Ели, как и всегда по праздникам, сытно и много. Щи с бараниной сменила лапша, потом в порядке последовательности: вареная баранина, курятина, холодец из бараньих ножек, жареная картошка, пшенная с коровьим маслом каша, кулага ¹⁾, блинцы с каймаком, соленый арбуз. Григорий, огрузившийся едой, встал тяжело, пьяно перекрестился, отдуваясь, прилег на кровать. Пантелей Прокофьевич еще управлялся с кашей: плотно притолочив ее ложкой, он сделал посреди углубление (так называемый колодезь), налил в него янтарное масло и аккуратно черпал ложкой пропитанную маслом кашу. Петро, крепко любивший детишек, кормил Мишатку, балуясь, мазал ему кислым молоком щеки и нос.

— Дядя, не дури!

— А што?

— На што мажешь?

— А што?

— Я маманьке скажу!

— А што?

У Мишатки гневно сверкали мелеховские угрюмоватые глазенки, дрожали в них слезы обиды; вытирая кулаком нос, он кричал, отчаявшись уговорить добром.

— Не мажься!.. Глупой!.. Дурак!..

Петро довольно хохотал и снова потчевал племянника: ложку — в рот, другую — на нос.

— Чисто маленький... связался, — бурчала Ильинична.

Дуняшка, подсев к Григорию, рассказывала:

— Петро — ить он дурастной, завсегда выдумывает. Надьсь вышел с Мишаткой на баз, — он и захотел на большой, спрашивает: «Дядня, можно возле крыльда?» А Петро: «Нет, нельзя. Отойди трошки». Мишатка чудок отбег: «Тут?» — «Нет, нет. Беги вон к амбару». От ам-

¹⁾ Кулага — лапша с сушеной вишней.

бара проводил ево к конюшне, от конюшни — к гумну. Гонял-гонял, покуда он в штанишки прямо... Наталья же и ругалась!

— Дай, я сам буду! — почтовым глухарем звенел Мишатка.

Смешливо шевеля усами, Петро не соглашался:

— Нет уж, парень! Я буду тебя кормить.

— Я сам!

— У нас сам с самой в хлеву сидят — видал? Бабка их помоями кормит.

С улыбкой прислушиваясь к их разговору, Григорий сворачивал курить. Подошел Пантелей Прокофьевич.

— Думаю, ноне в Вешки поехать.

— Чево туда?

Пантелей Прокофьевич густо отрыгнул кулагой, пригладил бороду.

— Делишки там есть к шорнику — два хомута поправлял.

— Обыденки с'ездишь?

— А то чево ж? К вечеру возвернусь.

Отдохнув, он запряг в развалки старую, ослепшую в этот год кобылицу, поехал. Дорога лежала лугом. Два часа спустя был он в Вешенской. Заехал на почту, в потребилровку, забрал хомуты и завернул к давнишнему знакомцу и куму, жившему у новой церкви. Хозяин, большой хлебосол, усадил его обедать.

— На почте был? — спросил он, наливая что-то в рюмку.

— Был, — протяжно ответил Пантелей Прокофьевич, зорко и удивленно поглядывая на графинчик, нюхая воздух, как собака звериный след.

— Новья ничево не слышал?

— Новья? Ничево кубыть не слышал. А што?

— Каледин, Алексей Максимович-то, приказал долго жить.

— Да што ты?!

Пантелей Прокофьевич заметно позеленел, забыл про подозрительный графин и запах, отвалился на спинку стула. Хозяин хмуро моргая, говорил:

— По телеграфу передали, што надьсь застрелился в Новочеркасском. Один был на всю область стоящий генерал. Кавалер был, армией командовал. А какой души был человек! Уж этот казачество в обиду не дал бы.

— Погоди, кум! Как же теперича? — растерянно спрашивал Пантелей Прокофьевич, отодвигая рюмку.

— Бог ево знает. Чижолое время наступает. Небось, от хорошей жизни не будет человек в самово себя пулять.

— Через чево ж он решился?

Кум, казак кряжистый, как старовер, зло махнул рукой:

— Откачнулись от нево фронтовика, в область большевиков напускали, — вот и ушел атаман. Найдутся аль нет такие-то? Кто нас оборонит? В Каменской какой-то ревком образовался, казаки в нем фронтовые... И у нас... слышал, небось? Приказ от них пришел: штоб атаманыев долой и штоб эти выбрать ревкомы. То-то мужичье головы поподняло! Все эти плотничиски, ковали, хапуги разные, — ить их в Вешках, как мошкары в лугу!

Долго молчал Пантелей Прокофьевич, повесив седую голову, а когда поднял ее, — строг и жесток был взгляд.

— Чево это у тебя в графине?

— Спирток. С Кавказу привез племянник.

— Ну, давай, кум, помянем Каледина, покойнова атамана. Царство ему небесное!

Выпили. Дочь хозяина, высокая веснушчатая девка, подала закусь. Пантелей Прокофьевич сначала поглядывал на кобылу, понуро стоявшую возле хозяйских саней, но кум его уверил:

— Не беспокойся об лошади. Велю напоить и корму дать.

И Пантелей Прокофьевич, за горячим разговором и за графином, вскоре забыл и про лошадь и про все на свете. Он несвязно рассказывал о Григории, спорил о чем-то с захмелевшим кумом, спорил, и после не помнил о чем. Встрепенулся уже вечером. Не глядя на упрасивания остаться ночевать, решил ехать. Кобылу запряг ему хозяйский сын, сесть в сани помог кум. Он надумал проводить гостя; рядом легли они в розвальнях, обнялись. Сани у них зацепились в воротах, потом цеплялись за каждый угол, пока не выехали в луг. Тут кум заплакал и добровольно упал с саней. Долго стоял раком, ругался, будучи не в состоянии подняться на ноги. Пантелей Прокофьевич погнал кобылу рысью, не видел, как провожавший его кум, уподобившись животному, ползет по снегу на четвереньках, тычась носом в снег, счастливо хохочет и просит хрипком:

— Не щекоти!.. Не щекоти, по-жа-лу-ста!

Несколько раз огретая кнутом, кобыла Пантелея Прокофьевича шла шибкой, но неуверенной, слепой рысью. Вскоре хозяин ее, одолеваемый хмельной дремотой, привалился к стенке саней головой, замолк. Вожжи случайно оказались под ним, и кобыла, не управляемая и беспомощная, сошла на тихий шаг. На первом же свилке она сбилась на дорогу к хутору Малый Громченок, пошла по ней. Через несколько минут потеряла и эту дорогу. Шла уже целиной, бездорожьем, стреля в глубоком над лесом снегу, храпя, спускалась в ложбинки. Сани заце-

пились за куст — и она стала. Толчок на секунду пробудил старика. Он приподнял голову, крикнул сипло:

— Но, дьявол!.. — и улегся снова.

Кобыла благополучно миновала лес, удачно спустилась на Дон и по ветру, доносившему с востока запах кизечного дыма, направилась к хутору Семеновскому.

В полуверсте от хутора, с левой стороны Дона, есть прорва; в нее веснами на сбыве устремляется полая вода. Около прорвы из супесного берега бьют ключи, — лед там не замерзает всю зиму, теплится зеленым широким полудужьем полынья, и дорога по Дону опасно обегает ее, делает крутой скачок в сторону. Весною, когда через прорву могучим потоком уходит обратно в Дон сбывающая вода, в этом месте крутит коловерт, ревет вода, сплетая разнобоистые струи, вымывая дно; и все лето на многосаженной глубине держатся сазаны, прибываясь к близкому от прорвы дряму, наваленному с берега.

К полынье, к левому ее краю, и направляла мелеховская кобыла слепой свой шаг. Оставалось до нее сажень двадцать, когда Пантелей Прокофьевич заворочался, чуть приоткрыл глаз. С черного неба глядели ему под воротник желто-зеленые невызревшие черешни звезд. «Ночь...» — туманно сообразил Пантелей Прокофьевич и ожесточенно дернул вожжи:

— Но-но-о!.. Вот я тебя, хреновина старая!

Кобыла потрусилась рысью. Запах недалекой воды ударил ей в ноздри. Она сторчмя поставила уши, чуть покосила в сторону хозяина слепым недоумевающим глазом. До слуха ее вдруг доплыл плеск смыкающейся волны. Дико всхрапнув, она крутнулась в сторону, попятилась. Под ногами ее мягко хрупнул источенный из-под испода лед, отвалился оснеженной краюхой. Кобыла захрапела смертным напуганным храпом. Изо всей силы она упиралась задними ногами, но передние уже провалились — были в воде, под переступавшими задними ломалось крошево льда. Хрушко ухнув и плеснув, лед раздался. Полынья глотнула кобылицу, она судорожно дернула задней ногой, стукнула по оглобле. В этот же миг Пантелей Прокофьевич, услышавший неладное, прыгнул с саней, откатился назад. Он видел, как сани, увлекаемые тяжестью кобылы, поднялись дыбом, обнажив блеснувшие при звездном свете полозья, скользнули в черно-зеленую глубину, и вода, перемешанная с кусками льда, мягко зашипела, чуть не доплеснулась до него волной. Задом с невероятной быстротой отполз Пантелей Прокофьевич, и только тогда твердо вскочил на ноги, ревнул:

— Ка-ра-у-у-ул, люди добрые!.. У-то-па-а-а-ем!..

Хмель у него — словно клином вышибло. Он подбежал к полынье. Остро блестел свежеотломленный лед. Ветер и стремя гоняли по широ-

кому черному кругу полыньи клочки льда, волны трясли зелеными вихрами, шелестели. Тишина кругом стояла мертвая. В дальнем хуторе желтели темноту огни. Исступленно горели и тряслись на плюшевом небе зернистые, как свежеперевеянные, звезды. Ветерок пушил поземкой, она сыпко сипела, мучнистой пылью летела в черное хайло полыньи. А полынья чуть дымилась паром и также радушно и жутко чернела.

Пантелей Прокофьевич понял, что кричать теперь глупо и бесполезно. Он огляделся, — сообразил, куда попал пьяным невзначаем, и затрясся от зла на самого себя, на случившееся. В руках его остался кнут, с ним он успел соскочить. Матерясь, он долго хлестал себя через спину, но было не больно, — защищала дубленая шуба, а раздеваться ради этого казалось бессмысленно. Выдернул из бороды щепоть волос и, перечислив в уме пропавшие покупки, стоимость кобылы, саней и хомутов, яростно выругался, еще ближе подошел к полынье.

— Чорт слепая, мать твою так!.. — дрожливым, стнящим голосом сказал он, обращаясь к утонувшей кобыле. — Курва! Сама утопла и меня было-к утопила! Куда ж тебя занесла нечистая сила?! Черти тебя там будут запрягать и ездить, а погонять им нечем!.. Нате ж вам и кнут!.. — он отчаянно размахнулся, кинул на середку полыньи вишневое кнутовище.

Оно, блокнув, сторчмя воткнулось в воду, ушло вглубь.

(Продолжение следует)



СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
МАТЭ ЗАЛКА — О голубом Дунае (рассказ)	3
Л. АРГУТИНСКАЯ — В водовороте (повесть)	11
ИВАН ЕВДОКИМОВ — Усадьба Юрово (повесть), продолжение	37
СТИХИ — Г. Санникова, М. Тарловского, В. Александровского, К. Каладзе, К. Лордкипанидзе, Г. Крейтана	89—100
МИХ. ШОЛОХОВ — Тихий Дон (роман), продолжение	101
СТИХИ — Н. Асеева	178—184

ЖИЗНЬ НА ХОДУ

Е. ЛОМТАТИДЗЕ — Зарисовки карандашом	185—196
--------------------------------------	---------

ЛИТЕРАТУРА

Б. ВОЛИН — Ленин о Горьком	197
Е. ТРОЩЕНКО — «На маргенах»	209

БИБЛИОГРАФИЯ

В. Цвелев, Н. Полетаев, И. Машбиц-Веров, В. Красильников, Б. Рейх, Ю. Данилин	214—222
Письмо в редакцию	223

цена 1 руб. 40 коп.



**Подписку направлять:
ОТДЕЛ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ
МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ**
Москва, Кузн. Мост, 7. Ленинград, Просп.
Володарского, 53-а. Розничная продажа от-
дельн. номеров во всех магазинах и киосках.